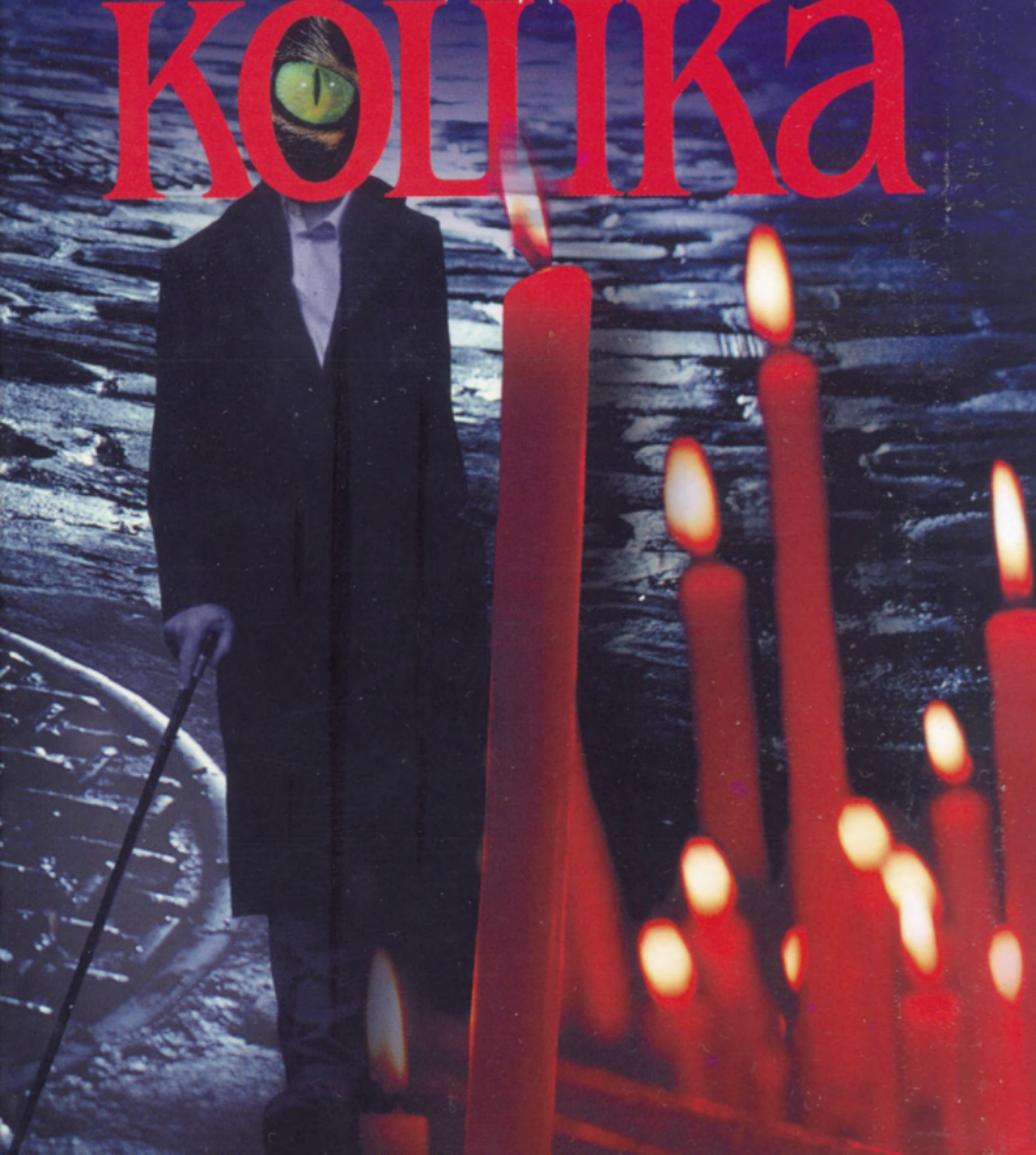


Наталья Трауберг

Невидимая кошка



Наталья Трауберг

Невидимая КОШКА



Москва
2006

ББК 83.3(4Вел)

Т 65

**Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)**

Наталья Трауберг

Т 65 Невидимая кошка . Сборник статей. — М.; СПб.:
Летний сад, 2006. — 304 с.

ISBN 5-98856-003-2

В сборник известной переводчицы Н.Л.Трауберг вошли статьи обобщающие её опыт работы над переводами Г.К.Честертон, К.С.Льюиса, Дж.Р.Р Толкина, О.Уайльда, П.Г.Вудхауза, И.Берлина и содержащие анализ творчества и мировоззрения этих авторов. Другая часть книги, посвященная жанру мемуаров, суммирует размышлениями об этичности мемуаров, их правдивости и склонности к искажению действительности. Отличительной особенностью эссеистики Н.Л.Трауберг является чистый и внятный язык в изложении сложнейших морально-этических и религиозных проблем.

ISBN 5-98856-003-2

© Трауберг Н.Л., 2006

© Летний сад, 2006

Вместо предисловия

Нетрудно заметить, что это — сборник статей, касающихся словесности. Есть заметки о мемуарах, есть — о переводе, есть — о разных писателях. Почти все они были напечатаны, большей частью — как предисловия. Написаны они после 1988 года, когда возникла возможность публично говорить о вере; но всё же прошло больше 20 лет, и кое в чём мои взгляды менялись. Кроме того, немного позже я стала ездить в Англию и нашла там много нового, особенно — о Честертоне.

Поскольку это — статьи к сборникам, что-то повторяется, но и убрать это невозможно. Однако всё, что я сейчас сказала, не так уж важно. Главное — в другом: должно быть, это — не литературоведение. По-видимому, очерки эти располагаются в пространстве между справкой и проповедью. Что ж, и то, и другое бывает нужно. Надеюсь, что менторского тона удалось избежать, а может быть — и пафоса; не того, который заменяют развязным безразличием, а того, который придаст тексту фальшь и высокопарность.

Невидимая кошка



1. Невидимая кошка

Можно ли писать мемуары? Вопрос идиотский — их очень много пишут и очень любят. Назидательный тон ужасен сам по себе. Сказав «нельзя», сделаешь такую гадость, которая перевесит самые беспощадные воспоминания. Остаётся подумать перед читателями, ставя эксперименты на себе. Речь пойдёт только о том, стоит ли их писать каждому из нас, а никак не о том, чтобы ругать других, уже написавших.

Представим себе, что нас попросили рассказать о временах, которые мы застали, и о людях, которых видели. Прежде всего, как бы мы ни крутились, мы напишем о себе — и прямо, и косвенно. Прямо писать довольно опасно. Вспомним рассказ Тэффи о том, как дама, придя с похорон знаменитого поклонника, гордо пишет, какие комплименты он ей говорил. Совсем детский вариант (принять все комплименты за правду) обсуждению не подлежит. Какие-то были искренними, но рассказывать о них не стоит.

Однако почти для всех открыт другой путь — описывать, что ты думал, что чувствовал, как менялся. Кому-то удаётся при этом себя не приподнять. Тогда книжки получаются приличные. Но сейчас мы говорим не об этих опасностях.

Итак, нас попросили написать о временах и о людях. О временах — ладно; умеешь — пиши, они не обидятся. О людях — а как? Льюис говорит, что если в кресле ле-

жит невидимая кошка, оно покажется пустым, но если оно кажется пустым, это не значит, что в нём кошка. Если думаешь, что пишешь всё как есть, ты обидишь многих. Но если ты многих обидел, это не значит, что ты написал «всё как есть».

Например, я читаю, как человек, настолько мудрый и мягкий, что имя его стало для многих синонимом доброй сказки, пишет о другом очень неприятные и вроде бы правильные вещи. Что тут можно сказать? Наверное, одно: «Как же вы его не пожалели?»

Так встаёт проблема милости, словно проступает красное на лакмусовой бумажке. Милость — не справедливость. Все мы знаем, как взвивается почти каждый при жалчайших, малейших попытках воззвать именно к милости. Как ни странно, милость проще распознать, даже ругая; легче и осуществить (если решиться). Справедливость человеку не даётся. Было бы уместно сослаться на притчу о плевелах, если бы мы не наострились читать Евангелие так, как нам удобнее. Собственно, эта притча относится и к мемуарам.

И тут проступает синий цвет правды. Знаем ли мы её? Конечно, какие-то слои — знаем, но очень тоненькие. Вероятно, авторам часто не хватает драгоценной неуверенности. Чтобы её обрести, хорошо представить себе того, о ком пишешь. Жан Ванье всё время повторяет, что в каждом из нас сидит беспомощный ребёнок. Если ты не знаешь, что он есть в тебе, вообще рассуждать не о чем. А если знаешь, представь таким и другого. Остановишься, как осёл с разбега.

Значит, и людей жалко, и «настоящей правды» мы не знаем. Наверное, говорить об этом стоит только с теми,

кто всерьёз принимает «милость» и «истину», живёт среди них. Ссылаться на «золотое правило» — опасно, его нетрудно обойти. Скажем, так: «Ну, обо мне такого не напишут!» или в другом духе: «Я никогда не обижаюсь». Вероятно, полностью защищены от боли и растерянности только стоики или буддисты, но я их не видела. Гордыню такую развить трудно, хотя нетрудно изобразить, а смирение таким быть и не обязано. Хорошо, не больно за себя — пожалей хоть обидчика, его съедает злость. Тот, кому всё равно — какое-то чудище, в котором уже нет вышеупомянутого ребёнка. Бывает ли это, никому неизвестно.

Получается, что лучше мемуаров не писать. Повторю, как дятел: не «ругать тех, кто пишет», а миллион раз отмерить, прежде чем писать самому. И тут вспоминаешь приятные исключения.

Ольга Борисовна Эйхенбаум пишет об Олеге Дале. Он — её зять, а про «своих» кто только не писал в духе восточного тоста! Но нет, получилось до того трогательно и честно, что почти невозможно читать. О коротком письме её дочери, его жены, к их другу даже рассказывать невозможно. Значит, «глаза любви зорче глаз ненависти» (сказал это Честертон), но в том-то и дело, что любви, а не выгораживания «своих». Это редко бывает.

Ольга Борисовна видит в том, о ком пишет, райскую красоту. Она его и жалеет, конечно, — но никак не «только». А совершенно поразительное исключение — в «Попытке философии» Владимира Илюшенко. Прочитайте, пожалуйста, тот кусок, где автор рассказывает о семье своего дяди («Континент» № 95). Вообще-то он пишет скорее о времени, и пишет очень точно. Я ещё не

видела, чтобы так хорошо рассказали об особой, жалкой пошлости послевоенных лет. Сама по себе она даже как-то противостояла всем утопиям — и в духе «Лефа», и в духе физкультурных маршей, и в том духе, который тогда возник, тяжёлом, грузном, русофильском. Всё-таки в ней было гораздо больше человеческого. Однако сейчас речь о другом; он пишет и о людях, и решается признать поразительные вещи: «Всё, что я нагородил здесь, вряд ли есть Истина, ибо Истина неопишима и неизречённа. Мне жаль и N, и M...» У него не буквы, имена, а перечисляет он женщин, совершенно ужасных по любому счёту.

Итак, правды — не знаем, людей — жаль. Если помнить об этом, мемуары писать, по-видимому, можно. Ну, хорошо, предположим — можно (решаем мы каждый для себя). Но что-то тут есть странное. Почему вообще захотелось об этом говорить? Читаешь мемуары, иногда — восхищаешься, а что-то мучает. Может быть, пора подумать о каких-то новых внутренних запретах?

Роман Честертон «Наполеон Ноттингхильский» начинается с главы об игре «Проведи пророка». Пророки что-то обещают, вроде бы это случается — а люди живут, как жили. Собственно, он говорит в 1904 году, что через 80 лет (в 1984!) трое клерков в котелках идут через парк в кафе, а потом — на службу; и предполагает выражение: тогда не будет клерков, служб, кафе, котелков, все станут летать и т. п. Тут он и объясняет про игру; как видите, резонно. Когда лет 25 тому назад мы узнали от Маклюэна, что книги скоро сменятся чем-то другим, можно было этому верить, можно — не верить; но книги никуда не исчезли. Да, компьютеры, интернет, телевизор,

а всё-таки как читали за столом или в постели, так и читаем. Однако что-то изменилось — и от масштаба этих «средств информации», и от немалой свободы. Наше слово отзывается уж очень сильно. Нынешние мемуары хотя бы читает неслыханное множество людей.

Тот же Честертон сравнивает благородного человека с позвоночным, а «низкого» — с моллюском. Как то должен образовываться позвоночник, когда, слава Богу, нет панциря. Об этом и стоит подумать.

Значит, спросим себя: можно ли, включив только нашу ненадёжную память, писать о людях то, что нам кажется правдой? Что вообще делать, если что-то представляется тебе злом? Конечно, отвечать на такой вопрос станет только тот, кто верит в разницу между злом и добром, но людей не казнит, а жалеет.

Ну, что же, подумаем о невидимой кошке. Наверное, я буду ещё о ней писать, в чём-то повторяясь, что-то проясняя для себя и, может быть, для других.

2. Закон Квудла

Начнём для ясности с того, что я благодарно удивляюсь самому подлинному чуду. По логике, без чудес, никто давно не умел бы писать, а пишут, и блестяще. Вне чуда — всё как положено. Правя и переписывая переводы, я вижу чистейший канцелярит, оживлённый убогими неологизмами советской поры; например, монах поучает послушников «Не переживай». Вот это — естественно для людей, с детского садика слышавших по-

истине дикий язык, но ведь какой блеск слога у других! По-видимому, как в переводе, прохудилась середина, её почти нет, а блеск — есть, давно такого не было.

Самиздат семидесятых годов сохранил переписку двух ученых; они — среди прочего — рассуждали, возродится ли интеллигенция. Кто-то из них, кажется — скептик (другой был католик), обещал, что возродится, как возрождается тот же сорт винограда на заброшенных, а то и выжженных местах. Сразу отвожу спор об интеллигенции, который неизбежно окрашивается странными страстями, но замечу: умение писать — вернулось. Конечно, всегда сохранялся малый остаток. Помогли и мы, переводчики, хотя намного меньше, чем иногда думали сами, — все-таки «великую русскую речь» переводом не сохранишь. Но сейчас хорошо пишут многие, вот чудо.

Поскольку вообще пишут много и почти всё печатают, есть и другая словесность, которую можно назвать старомодной, можно — провинциальной, если придать этим нейтральным словам явственно пейоративный смысл. Лучше выделить ее признаки, как полагалось лет тридцать назад в Кярику или в Тарту. Позже, в начале восьмидесятых, мы с одним тайным священником, в миру — милицейским инженером, составили куб «неофит», предположив, что искаженная религиозность не в ладу с соловьевскими стыдом, благоговением и жалостью. Одним из трех признаков неофита оказалось мистическое бесстыдство — больная, себялюбивая, нецеломудренная мистика. Другой признак — жестокость, безжалостность, «us — them mentality». Если словесность, о которой мы сейчас говорим, — религиозная, в ней прежде всего заметно какое-то бесстыдство.

Никакой тайны здесь нет, пишущий утверждает себя. Христианский текст от этого просто исчезнет или переменит знак, мирской — вроде бы нет, это более или менее принято, но читать стыдно. Вот понять — легче легкого: людей непрерывно унижали — в магазине, на вешалке, в любом учреждении, начиная с детского сада. По законам естества, без благодати и чудес, реакцией будет именно самоутверждение. Понять это можно, пожалеть — тем более, а читать неудобно.

Те, кто не пожалеет, заговорят о вкусе. Да, вкус — не только суета и предрассудок, иногда он указывает меру, красоту, достоинство, но очень уж опасен такой суд. Чем окупал его, скажем, Ходасевич — понятно, но все-таки радуешься, когда простодушный, многоречивый Честертон вообще отрицает эту мерку.

Этого мало. Томас Мертон, молитвенник XX века, не мог читать маленькую Терезу, пока не понял очень важную вещь. Вот что он пишет: «Особенно я удивился, что в убожестве мещанства, среди финтифлюшек и плюша, появилась святая. [...] Мне казалось, что эту толщу благодать пробить не может. В лучшем случае такие люди могут стать безобидными ханжами, но не великими же святыми! Думая так, я грешил против Бога и против ближнего, кощунственно принижая Его силу и жестоко, обобщенно, огульно осуждая целый класс людей по довольно смутной причине. [...] И тут я понял самое странное. Она стала святой, не убегая от мещанства, не отрекаясь, не презирая, не браня «среду», в которой выросла, — наоборот, она приникла к ней, насколько это возможно для хорошей монахини. Она сохранила все, что

было в ней мещанского [...] — тоску по нелепому домику, называвшемуся “Les Buissonets”, любовь к переслащенному искусству, к сахарным ангелам, к сусальным святым с такими кудрявыми и умильными ягнятами, что подобных мне просто тошнит. Она писала стихи, прекрасные по чувству, ориентируясь на самые дешевые, расхожие образцы, — и никогда не поняла бы, что для кого-то все это уродливо или убого, никогда не подумала, что надо от этого отказаться, возненавидеть это, проклясть. И стала святой, едва ли не величайшей за последние триста лет».

Честертон и тот побаивался св. Терезы, пока монсеньор Нокс не дал ему обессахаренный перевод. Все-таки, все-таки он немножко придурился, а точнее — юродствовал, насилуя свой джентльменский вкус. Юродствуют христиане потому, что очень уж много в мире безжалостной брезгливости. Чем не пожертвуешь, чтобы встать против нее!

Он же, Честертон, в романе «Перелетный кабак» рассказывает, как Патрик Дэлрой науськивал собаку по имени Квудл на злого чиновника. Дэлрой говорит:

«...слабость ума поражает порою хороших людей. Однако она нередко поражает людей плохих. Человек, стоящий неподалеку, и глуп и зол. Но помни, Квудл, что мы отвергаем его по нравственным, а не по умственным причинам. [...] Будь он только глуп, я не имел бы права сказать “Возьми, Квудл” с такой естественной интонацией».

Когда речь идет не о святых, «безвкусное» можно назвать «глупым». Но имеем ли мы право говорить такие слова «с естественной интонацией»? То, что Набоков описал под именем «пошлого», моя покойная подруга называла «лиловым», возненавидев за годы ссылки и комму-

налок лиловые кальсоны и штаны. Люди, сушившие их на кухне, ругали ее, доносили на ее мужа, который потом и сел; словом, она заплатила, мы теперь — не платим. Хорошо читать Ходасевича и Набокова, но многие, не по своей вине, прочитали их значительно позже, да еще сразу сочли, что сами они — элита или что-то такое же дикое. Они хотят о себе рассказать. Конечно, лучше бы они при этом не верили в Бога, который просил: «отвергнись себя», но человек измучен и слаб, отвергнуться очень трудно.

При чем же тут куб или Квудл? При том, что есть более важный признак, уже чисто нравственный. Хорошо, возвышай себя, но не унижай других. Среди книг, стихов, статей, которые немного стыдно читать, далеко не все безжалостны. Правда, в этих случаях, очень часто, автор ощущает себя просветленным и смотрит на людей с той светлой, снисходительной улыбкой, которая так испугала молодого Честертона, когда он встретил теософок. Но Бог с ней, с улыбкой, хоть не бьют! А есть — другое, есть резкий и безапелляционный суд, не сокрушение о каком-то духе, но суд над людьми, удивительно похожий на сцены из сталинских времен.

Однако этот признак, в отличие от первого — совсем не привилегия «безвкусной словесности». Пишущие блестяще и умно ничуть не милостивей, просто у них тон другой, лихой, а не чистоплюйский. Вот мы и пришли к трюизму: «Суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». А трюизмы из Писания тем хороши и плохи, что повторять их — бессмысленно, но непременно надо.

Пожалуйста, не гадайте, кого я имела в виду! Никого. Ни одного человека, только дух. Назвав хотя бы одно че-

ловеческое имя, особенно — фамилию без имени, как в детском садике, мы жестоко нарушим закон Квудла.

3. Второе письмо Успенскому

Дорогой Успенский!

Письмо это — гораздо проще и гораздо печальней¹. Пора поговорить о мемуарах. Мы с Вами столько видели, что простодушные люди спрашивают, почему мы их не пишем. Не знаю, почему не пишете Вы², а своими сомнениями поделюсь.

Начнем с того, что память очень подводит. Кто попроще душой, пишет запросто прямую речь, иногда оговаривая это («у меня, знаете, стенографическая па-

¹ Предыдущее письмо Натальи Леонидовны Трауберг ко мне (от 25.08.1998) было посвящено переводам. Оно опубликовано в «Неприкосновенном запасе», № 3 за 1999 г.— *Примеч. У.* (в настоящем издании в разделе «Голос черепахи»).

² В послесловии публикатора будет сообщен аргумент против писания мемуаров, принадлежащий М.С. Волошиной. Но мне как раз казалось, что я сам не избежал этого греха, поскольку опубликовал воспоминания об Андрее Николаевиче Колмогорове (в сб. «Колмогоров в воспоминаниях», М.: Физматлит, 1993), о Юрии Михайловиче Лотмане (в первом «Лотмановском сборнике», М.: ИЦ-Гарант, 1995), О Викторе Юльевиче Розенцвейге (в «Wiener Slavistischer Almanach». 1992. № 3). Поэтому заявление автора письма, хорошо знакомой с названными публикациями, о том, что я не пишу мемуаров, меня несколько удивило. Как оказалось, однако, Наталья Леонидовна считает, что публикации эти суть не мемуары, а нечто другое; спасибо ей за это. — *Примеч. У.*

мять»). Кто повредней, их обличает. Но и без диалогов сколько всего смещается! Я много лет видела сон, что иду со Смоленского бульвара на Гоголевский по зеленому склону, и честно считала, что так переплавилось воспоминание о том, как летом 1945 года я ходила из дома, где я гостила¹, к жене Эйзенштейна, чтобы с ним встретиться. Видела и считала, пока один киновед мне не сказал, что тем летом Сергей Михайлович был с женой в ссоре (как Вы знаете, брак был странный, жили они отдельно) и у нее не бывал. Вероятно, я ездила к нему на Потылиху, там действительно зеленые склоны², но памяти больше не верю.

Такие странности вводят в заблуждение простодушного читателя, который ждет от мемуаров каких-то сведений, но все это ерунда, пока не вмешалось «дикое слово»³. Тогда возникают привычные вывихи, тоже — попроще и повредней.

¹ На постоянное жительство в Москву, где и находятся оба бульвара, Н. Трауберг переехала (из Ленинграда) 12 мая 1953 г. — *Примеч. У.*

² Автор письма правильно помнит, что на пути от Смоленского бульвара к Гоголевскому вообще нет зеленых склонов. Однако замечательно, что этот простой географический факт явно произвел в сознании автора меньшее возмущение, чем нюансы биографии великого кинематографиста. В назидание Наталье Леонидовне, судьбой ей было назначено жить с лета 1992 г. в доме, расположенном между названными бульварами. — *Примеч. У.*

³ То есть слово «я». См. стихотворение В.Ф. Ходасевича «Перед зеркалом»; оно начинается так: «Я, я, я. Что за дикое слово!» — *Примеч. У.*

О самом простом рассказала мудрая Тэффи. Одна дама пришла с похорон и села за дневник. Написала она, что NN делал ей такие-то комплименты, MM — такие-то, а покойник, человек знаменитый, — такие-то (конечно, при жизни). Избежать этого можно, но избегают так редко, что задумаешься.

Но и это чепуха, даже трогательная (вот как одинока бедная дама!), перед особым случаем, который чаще бывает почему-то у мужчин. Именно он, автор, наводит всюду порядок, спасает любую ситуацию, а потом другие персонажи тех же мемуаров говорят для верности, какой он замечательный. Что уж там, и это трогательно, не от хорошей жизни делается; правда, тогда надо жалеть любого, самого патологического эгоиста — и ведь надо, но нелегко.

Однако и это чепуха, пока автор занят собой. Здесь мы подходим к самому опасному. Как в жизни недолюбленный человек легко превращается в крошку Цахеса, так и в мемуарах может всех перекусать. Самые наивные чешут прямо: вышел NN в фойе и умер, вот она, Божья кара! (сама читала). Бывает и хуже: умирал мучительно, издевались в лагере и т. п. Видимо, эти варианты больше свойственны церковным людям, да и не самым умным. А вот кто угодно может просто описать своих знакомых с полной беспощадностью.

Вы скажете: должен же кто-то обличать злодеев — но Вы как раз не скажете. Скажут скорее церковные (ведь у них¹ осталось что-то вроде идеологии), хотя могли бы

¹ Не у христиан, а у тех, кто так удачно изображен в Мф. 23. Конечно, есть они во всех конфессиях. — *Примеч. Т.*

знать и «Мне отмщение», и то, что злорадство — большой грех, и то, наконец, что человек многослоен.

Пойдем дальше. Бывают и не такие резкие формы, но если писать то, что видишь (даже если видишь немало), люди получают, в лучшем случае, довольно смешные. Все мы смешны и все слабы, но не все готовы себя такими увидеть. Сколько человек делает, чтобы это скрыть! Зачем же разоблачать его? Золотое правило¹, как известно, работает лишь в одну сторону; если сам ты и готов, выводов отсюда делать не стоит.

Если же обойти смешные стороны и слабости, получится грузинский тост, что хорошо для семейных мемуаров, но все же фантастично. Конечно, кому-то удастся пройти между Сциллой и Харибдой, но я гораздо злее, во всяком случае — умом. Мучают меня мемуары, которые я написать могла бы.

Прошибли меня слова из полумемуаров Владимира Илюшенко в «Континенте» за этот год². Описывает он исключительно подлых мыр, одна из которых к тому же довела до тюрьмы, бросила и обобрала его дядю. А потом заключает так: «Все, что я нагородил здесь, вряд ли есть истина, ибо Истина неопишима и неизреченна. Мне жаль и Риту, и Шварце Маус, и тетю Муху, и даже

¹ Известное золотое правило этики: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». — *Примеч. У.*

² Имеется в виду повесть Владимира Илюшенко «Попытка философии, или Комментарий к “Чжуан-цзы” в рассказах и воспоминаниях», опубликованная в 1998 г. в журнале «Континент», № 95. Приводимая далее цитата взята из 9-й главы повести. — *Примеч. У.*

в особенности тетю Муху, потому что я помню ее страдальческие глаза <...>. Мне жаль Нику, которую зачем-то прозвали Шварце Маус <...>. Мне жаль их всех <...>».

Что ж, вообще не писать? Или не писать, если не можешь вот так усомниться и всех пожалеть? Не знаю — и не пишу.

Ваша Т.

P.S. Естественно, сегодня же позвонила приятельница и ахает: «В “Независимой” статья: NN написал тако-ое!» Она имела в виду статью одного критика о мемуарах одного поэта. Мы знаем, что бывает с теми, кто поднял меч, и я представила себе, как бедный NN гибнет от меча. Когда-то меня поразил тон (да и смысл) его проходной фразы обо мне — но я сказала ему, и он просил прощения. То, что он пишет о других, читать тяжелее. Однако он честно *платит*: им возмущаются, а другими — нет.

4. Улица Леиклос

Никакими силами не удаётся объяснить, почему я не пишу мемуаров. По-видимому, это к лучшему, поскольку моё нежелание относится к слишком большим странностям, обижающим собеседника или читателя. Я, видите ли, не пишу, тогда как он ничего плохого в этом не видит, мало того — иногда их пишет.

Слава Богу, помог мой дорогой Честертон. Я вспомнила его слова о том, что глаза любви зорче глаз ненависти. Значит, можно применять правило: пиши только

о том, что видел(а) глазами любви. Заодно это способствует смирению — непременно заметишь, что таких случаев мало; конечно, если ты не называешь любовью «суровую доброту», слепой восторг или ещё какую-нибудь гадость.

Соответственно, можно сказать, что мемуары пристойны в той мере, в какой они следуют этому правилу. Бывает это нечасто. Например, о «самых известных людях» я написать пока не могу — нет, кое о ком могу, но далеко не о каждом, кого я знала. Скажем, не буду писать о Надежде Яковлевне Мандельштам. Отец Александр смотрел на неё именно так — не идеализировал, не бранил её врагов, а видел глазами любви. Если бы он хотел, он мог бы написать о ней мемуары. Могли бы и молодые женщины, помогавшие ей справиться с жизнью — Таня Птушкина, Лена Сморгунова, Нонна Борисова, Лёля Сарабьянова; а Лёля Захарова и написала¹. Они — могли бы, я — нет. Надо ли прибавлять, что речь не идёт о ненависти? Просто я побаивалась её и кое от чего страдала.

Почти то же самое относится к Иосифу Бродскому. Расскажу сперва предысторию, до знакомства. Мы с Томасом Венцловой были в Кярику на семиотических чтениях (конец лета 1966). Пришла телеграмма на птичьем языке: приехал Юозас. Через Таллин мы кинулись в Литву, где тогда жили, и в моём доме, на Антоколе, Томас с Иосифом увиделись в первый раз. К счастью, Томас немедленно стал смотреть на И. глазами любви, поскольку тот сразу попытался обидеть, среди прочих, и его. Надо

¹ «Приходские вести», № 16, 2004. С. 109 и дальше.

ли, спрошу снова, напоминать, что он недавно приехал из ссылки и почти кричал от боли?

Томас не обиделся, и дружба их принесла позже такие плоды, как «Литовский ноктюрн» и другие стихи про Вильнюс. Там есть строки, которые я не могу читать спокойно:

Над холмами Литвы

Что-то вроде мольбы за весь мир...

Значит, он это понял. Кроме того, значит, следующий абзац, мягко говоря, факультативен.

Ни в Антоколе, ни с декабря, уже на улице Леиклос, у нас с Иосифом ничего не получалось. Я раздражала его, он — меня. Я старалась стусеваться, он не старался, поскольку считал милость и жалость чем-то едва ли не советским. Тогда появилась такая мысль у очень даровитых и очень измученных людей его возраста. Прописи гуманизма, явственно и беспардонно противоречившие практике, вызывали у них абсолютное отвращение, которое они и переносили на какое бы то ни было сострадание, видит Бог, Советам не свойственное.

Поэтому о той поре я больше писать не стану. Перейдём к самому концу, к разрешению.

Январь 1995 года отличался тем, что я ухитрилась заболеть детской болезнью, воспалением среднего уха. Уходя на службу, дочь оставляла со мной и 93-летней мамой очень милую молодую женщину, которая сейчас — монахиня в Санта Розе, под Сан-Франциско. Лежу я с компрессом и температурой под сорок, слышу теле-

фонный звонок. Санча бежит к телефону и почти сразу возвращается, крича, что Евгений Рейн сообщил о смерти Бродского.

Тут со мной случилось то, что я бы не хотела называть «мистическим». Я просто увидела, как с Иосифа опадают, осыпаются те свойства, которые мешали нам ладить друг с другом. Позже, а может, и тогда я подумала, что же из этого следует.

Мне кажется, трудные свойства мешают только при общении. Они, по меньшей мере, ставят нерешаемые задачи. Апостол пишет: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми...» Иосиф ещё ничего, а бывает что-то, подобное рассказу мудрой Тэффи: человек, скажем так, с прихотями даёт два противоположных распоряжения. Это нелегко, и не надо говорить тому, кто от этого устал, кисло-сладкие слова. Если ты сам в таких случаях ставишь ближнего на место или кричишь на него — твоё дело, но не учи другого милости и не думай, что у тебя она есть.

К счастью, шероховатость в отношении к Иосифу исчезла начисто, хотя и поздно. С конца 60-х до середины 90-х она оставалась, хотя и латентно. Скажем, ехали мы с Томасом к отцу Станиславу и я, хваля стихи, жалея Иосифа, как-то её проявила. Мягчайший Томас высадил меня из машины, а потом догнал и попросил прощения. Лучше было бы, если бы я начисто лишилась лишних чувств и мнений сразу после того, как перестала общаться с Иосифом, то есть на четверть века раньше того звонка.

Самое существенное здесь, что это — очень трудно. Если читатель сочтёт, что он выше, или лучше, или ми-

лостивей этого, он почти наверное ошибётся. Царапины саднят, тем более — раны (здесь их не было). Чтобы забыть о них, помня о человеке, своими силами не обойтись. Это, как многое другое, Божий подарок — и только тем, кто этого *хочет*.

Что до Иосифа, умелый ангел дал мне подсказку. Стала я перечитывать сборник Томаса Венцловы «Собеседники на пиру» и увидела такие слова (Бродский ссылается на Мандельштама): «Главное опровержение тезиса о том, что Восток есть безнадежная тирания и энтропийная чёрная дыра, для меня заключается в самом явлении поэта, во всём его творчестве [...] Я думаю, что страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного человека».

Им он и был, а спрашивать кротости с тех, кто оказался третьим, если не четвёртым поколением советской поры, — поистине жестоко.

5. Остров пингвинов

Лет двадцать тому назад, а может и больше, в журнале «Искусство кино» появилась статья сравнительно молодого режиссера. Фамилию я забыла, но и так не написала бы, чтобы не внести личного оттенка, которого, кстати, и нет. Суть не в авторе, но в действии статьи, а было оно таким: меня статья умилила, моего отца — обидела.

Чтобы понять, в чем тут дело, сообщу, что речь шла о Высших режиссерских курсах, где люди с какой-то профессией приобретали за два года знания, необходимые

для работы в кино. Автор вспоминал преподавателей, скажем — Шкловского и Ромма, очень их хвалил (на мой взгляд), но резонно видел в каждом из них что-нибудь смешное. Наверное, Шкловский был смешнее Ромма, но суть не в этом. Смешным оказался и мой бедный отец, конечно — очень похожим. Бывший ученик описывает, как они скандировали: «Мы — внуки ФЭКСА! Мы — остров пингвинов!», становясь при этом в ряд и поставив ноги в пятую позицию, как Чаплин. Действительно, папа так ходил, и мне, например, это мешало всерьез сердиться на него. Казалось бы, хорошо. Увидели человека смешным — и он стал героем Диккенса, то есть перешел в мир умиления и смеха.

Приходится оговориться: да, смех бывает глумливым и бесовским. Человека просто зачеркивают; что здесь была совершенно иная тональность — именно, тональность, или, точнее, лад, как мажор и минор. Смех может выражать и вызывать и злобу (это — бесовский) и детское умиление (это — ангельский). Ах, Господи, что объяснять! Кто понимает, тот понимает, а других — не убедишь.

Когда папа долго выговаривал мне, я думала о запоздалом открытии: очень многие ни за что не хотят увидеть себя смешными в этом, диккенсовском плане. Сейчас я не буду углубляться в христианский смысл такой позиции, ограничившись словами Честертона: “Секрет жизни — в смехе и смирении”. За дальнейшими сведениями отошлю к тому же Честертону. Кто-кто, а он все это знал.

Зато сделаю выводы, касающиеся даже относительных мемуаров. Я пишу для журнала «Истина и жизнь» статейки, где рассказываю о бытовых, маленьких чудесах. И вот,

оказалось, что моя младшая подруга горько обиделась — почему о болезни и спасении ее мужа рассказано каким-то опереточным тоном? Ее я успокоила, но себе напомнила: будь осторожна, не допускай и этого. Совсем не допустить я не могу — и само так выходит, и не хочется пафоса. Но хотя бы надо, по мере сил, отходить от конкретных людей. Так создалось еще одно правило — для себя, не для других: если человек, о котором ты рассказываешь, обидится на «пингвина», не говори о нем вообще. Что же, постараюсь.

Наконец, поставим еще один заслон. Давно любимый мной Иван Владимирович Лопухин сказал, диктуя мемуары: «Говоря о себе, не услышишь, как промолвишься». Совершенно верно, а потому лучше «о себе» не говорить. Но это — уже другая тема.

А сейчас прибавлю, что счастливые супруги, хорошие родители, друзья считают тех, кого любят, необычайно смешными. Ангельский смех предполагает любовь и сочувствие, бесовский их исключает. Заметьте, боящиеся смеха не терпят и жалости к себе, предпочитая ей загадочное «уважение» или совсем уж шаткое «восхищение». Ключевский пишет о Екатерине II: «... она больше всего боялась стать предметом страха или сострадания». Бедная императрица! Может быть, в этом причина ее одиночества и неудач.

6. Чаша холодной воды

Казалось бы, всё учли — и самоутверждение, и безжалостность, и предвзятость, и ошибки памяти. Садись и пиши, людям интересны мемуары. Однако само это слово — многозначное; спасибо, если для тебя оно связано с

«Мемуарами Муми папы». То ли дело — анналы, хроника, летопись. Может, они и скучнее, но воздух не замутнен нашим, простите, «эго». Часто ли это бывает у нынешних людей? Я была довольно тихой, точнее — запуганной девицей, хотя и старалась казаться то ли взрослой, то ли нелепо-развязной. Но я и молилась, верила в Бога, главной была скрытая от всех камера. И что же? Кого ни вспомню, он туда-сюда конкретен, а вокруг, между мною и им, какие-то вихри, пусть и не враждебные. С одной стороны, я почти всех боялась, с другой — закрывали видимость даже не пары, а темные воды, сквозь которые красоту рассмотришь, а правду — нет.

Отец Саймон Тагуэлл пишет, что один пустынный предложил послушнику посмотреть в чашу воды. Естественно, тот ничего толком не увидел, вода колебалась. Пришлось дожидаться, а в определенном смысле — и добиваться покоя. Это дело долгое, но не в том суть. Хуже всего, что самый начинающий неофит его у себя находит. А уж если до исихастов дочитался, все, дело плохо.

Конечно трудность — все та же: не «перемена ума», а замена идеологии. Не всякий неофит этим грешен. Честертон получил покой даром, «за свою доброту и простоту»¹. Вот уж, казалось бы, «прыток и прыгуч»² — но нет, все блаженства при нем, так что зря мы приписываем их то пришибленным, то неприятно-отрешенным субъектам. Это часто бывает с людьми Петра — и с ним самим,

¹ См. рассказ «Деревянный меч», где так говорят о Денисе Трайоне.

² А это — из рассказа «Маска Мидаса».

и со святым Патриком (прочитайте, очень советую), и с теми, хотя бы, о ком пишет Джон Саурд в своей замечательной книге «Путь агнца». Хорошо бы ее издать.

Чтобы кончить раздел не призывом к аскезе, а сценкой, уютной, как свадьба в Кане, расскажу об этой книге. С Саурдом я познакомилась в июне 2000 года, приехав в Оксфорд от Тони Ринга, которому отвозила для журнала «Вустер соус» статью о Вудхаузе в России. То ли я отравилась рыбой, завтракая среди роз «сэр Пэлем», то ли везла желудочный грипп из Москвы, где им болел мой внук Петя. В Оксфорде все ели, а я пила воду, что не помешало нам признать Вудхауза лучшим писателем уходящего столетия. Как сказал бы Пеги, *naturellement* оказалось, что в том же самом «Соусе» будет и статья Саурда. Об его книге про агнца я уже читала в «*Chesterton Review*» и очень ее ждала. Дня через три, когда заботами доминиканки и негра из Сьерра-Леоне, тоже носившего имя Джон, я начала работать, директор честертоновского института — молодой и совершенно честертоновский Стрэтфорд Колдекотт — спросил у Саурда, нет ли у того книги. Ее не было, и Колдекотт подарил свою.

Летопись ли это? Скорее — нет, слишком чувствительно. И все-таки надеюсь, что вода в чаше к восьмому десятку немного улеглась.

рвое письмо Успенскому

Голос черепахи



1. Первое письмо Успенскому

Дорогой Успенский!

Спасибо за «НЗ». Если бы нам в 55 г. (65 г., 75 г., 85 г.) сказали, что мы увидим такой журнал, мы бы решили, что будет это в раю. У Честертон, в конце «Шара и креста»¹, встречаются те, кто был очень важен для сюжета. Так и тут слышишь людей, которых сто лет не видела, и читаешь то, что много раз хотела сказать.

Конечно, самое главное — просьба иметь совесть и не гневить Бога. Мариэтта Омаровна и Андрей Леонидович написали об этом все, что можно написать. Но я перевожу книги, и для меня очень важно то, о чем пишет Борис Владимирович Дубин.

Точнее, я их переводила, теперь я их чаще переписываю. Наверное, тот же Честертон отнес бы это занятие к своим *queer trades*². Это не «рирайтер»³, куда

¹ «The Ball and the Cross» — роман Г. К. Честертон. См. перевод этого романа, выполненный НЛ. Трауберг, в издании: Г.К. Честертон. Избранные произведения. Т. 3. М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1994. С. 259—381. «Итак, все в сборе», — говорит главный врач больницы в заключительной, XX главе (см. стр. 377). — *Прим. У.*

² «The Club of Queer Trades» (в русском переводе — «Клуб Удивительных Промыслов») — сборник рассказов Г. К. Честертон 1905 г. — *Прим. У.*

³ Профессия рирайтера (буквально — переписчика) состоит в литературном редактировании текста. Эта профессия предполагает исправление грамматических и стилистических ошибок, но никак не ошибок в отношении имен и фактов. В тексте, который сегодня (28.09.98) «переписывает» Н. Л. Трауберг, ей приходится понимать, что «Пэйдс» — это населенный пункт Падес (Pades) в Испании, а «Пинаут» — это французская фамилия Пино (Pinaut). — *Прим. У.*

там! Они бы давно перемерли, если бы занимались вот этим. Сейчас я переписала вчистую 11 листов за месяц, что для переводчика невозможно — вероятно, злость помогла. Занятия тут, собственно, два, полегче и потруднее. Довольно легко, хотя и вредно, выгребать «Мадонну кобр» (исп. «cobre» — «медь»¹), «Сэвиор жив» (естественно, «Спаситель жив») или мои любимые «король Саул из Тарса» (Савл Тарсянин)², «голос черепахи» («turtle»³) и «королевский злодей Лоурдес» (перечень чудесных исцелений — «королевская болезнь, Лурд»⁴). Гораздо утомительней разлеплять комки отглагольных имен, переворачивать пассивы, рас-

¹ Madonna del Cobre — Медная Мадонна, один из почитаемых в Латинской Америке образов Богородицы; находится в поселении Cobre (букв.: медь) на Кубе. — *Прим. В.*

² Упражнение: откуда взялся король? (Решается только методом отца Брауна). — *Прим. Т.*

Применив этот метод, можно с большой долей уверенности предположить следующее. Переводчик (в данном случае — переводчица), посмотрев в словаре имя «Saul», обнаружила два значения. Одно из них отсылало к какому-то Павлу («Paul»), оно было отвергнуто. Другим было «the first king of Israel». Еще один авторитетный источник сообщил, что по-русски этого древнего монарха следует именовать «Саул». А что «king» переводится как «король», знает всякий. — *Прим. У.*

³ Это слово имеет два значения: «черепаха» и «горлица»; в данном случае имелся в виду голос горлицы из «Песни песней» (2:12). — *Прим. У.*

⁴ Королевской болезнью (буквально — королевской напастью, the king's evil) называлась золотуха, поскольку ее, как известно, излечивал король наложением рук. Переводчик удалил запятую, разделяющую чудеса, перевел «evil» как «злодей», и транскрибировал «Lourdes» (Лурд) отчего и получился королевский злодей Лоурдес. — *Прим. У.*

путывать цепочки родительных падежей, выпаривать «является», «есть» и «суть» (для ед. числа) или устало перечеркивать бесчисленные «но». Выдерживаю я это не только ради маммоны и не только ради аскезы. Есть и вознаграждения.

Нетрудно понять, Успенский, что перевод — ремесло смиренное; но выкрутиться можно — спрашивать: «А вы читали у меня?», рассказывать, как кто похвалил и т. п. Queer trade совершенно, абсолютно уничтожает эту возможность. Мало того — если, скажем так, первоначальный переводчик захочет все это проделать, пожалуйста. Ты тут ни при чем.

Конечно, такое вознаграждение годится только мракобесам¹. А вот преобразование хаоса в космос вполне уместится в обычные переводческие радости. Хаос, нетварная бездна или что-то еще похуже² — перед тобой, а не где-то, в непонятном, невидимом и спорном зазоре между языками. Пишешь все заново, рамки гораздо уже, в самом прямом смысле — надо уместиться между строчками или на полях. Плюешь и пишешь на листочке только в крайнем отчаянии. Словом, полета вольное упорство, причем упорства больше, чем вольности.

¹ Назовем так христиан, принимающих всерьез то, что читали и слышали. Слово это, кстати сказать, родилось в одном из могучих прежних издательств как пейоративное. — *Прим. Т.*

² Ольга Михайловна Фрейденберг говорила нам в 1945 году, что отперла ванную, запертую на блокадные годы, и увидела эту самую бездну Тиамат. Мы это запомнили на всю жизнь. — *Прим. Т.*

Наконец, занятие это все-таки «спасает людей». Когда оно начиналось, один католический священник сказал мне: «Пожалейте читателя», и я жалела всюю. Вы поймите, новые издательства, где сидят двое или трое, издадут и так, что там — издадут, ведь всего не перепишешь. Спасибо, если спрашивают, совсем кошмар или не совсем, хотя вообще-то знают, что все это — прихоти снобов. Недавно совет исправить очередных Неро и Фило, Кризостомов и Кловисов¹ приняли, покивали и ничего не исправили.

Вот тут мы подходим, Успенский, к *problèmes* и *mystères*².

Совсем уж недавно оказалось, что хитрый томист³ имел в виду и другое: смотрите, не наплодите Цахесов!⁴ Я знаю, что примерно так же думаете и Вы. Заводить юридическую речь о том, что хорошо подбадривать людей, которые спешат возвысить себя после жутких советских унижений, я сейчас не буду. И Вы озверееете, и я заколебалась.

¹ Имеются в виду император Нерон (Nero), Филон Александрийский (Philo), Иоанн Златоуст (Chrysostom), Хлодвиг (Clovis). — *Прим. У.*

² Основатель французского католического экзистенциализма Габриель Марсель (Marcel) делил встающие перед человечеством вопросы на *problèmes* (задачи, проблемы) и *mystères* (тайны). — *Прим. У.*

³ Хитрым томистом именуется упомянутый ранее в письме католический священник. — *Прим. У.*

⁴ Именно такой случай выпукло представлен в известном фильме «Осенний марафон». Безграмотная переводчица Варвара в исполнении Галины Волчек облагодетельствована полностью переписавшим ее перевод высококвалифицированным профессионалом Андреем в исполнении Олега Басилашвили. На основании представленного ею текста она получает место, первоначально предназначавшееся ему. — *Прим. У.*

Решение вроде «перетянем зло на себя и дадим место Богу» еще больше огорчит Вас, а главное — вообще непристойно. Такие вещи — не для слов, мы переписываемся в другом пространстве.

Вероятно, резонного ответа нет. И все-таки, ответьте, если можно, не только в том духе, в каком Вы говорили лет 10 назад о редактировании Джойса¹. Бесспорную истину: «За отсутствие советской власти можно заплатить и большую цену», вынесем за скобки.

Ваша Т.

2. Третье письмо Успенскому

Дорогой Успенский!

Давно не писала Вам, темы не годились. Сперва я решила поговорить о странностях нашей церковной жизни, давно пора — люди и сами не рады, и других отпускают; но она 1) все-таки не Ваша, и 2) разговор этот не совсем для «НЗ». Можно подумать вместе о плюсах и минусах постмодернизма, но еще (или вообще) не по-

¹ Тогда я рискнул сказать Наталье Леонидовне что я полностью прекращу с ней отношения, если она согласится редактировать перевод «Улисса». Наталья Леонидовна отвергла мой ультиматум, и мы оба смирились с предстоящим разрывом. По независящим обстоятельствам участие ее в этом предприятии не состоялось. — Прим. У. (см. очерк «Улисс», «Истина и жизнь», 2004).

лучается. Наконец, часто хочется напомнить, как плохо было при Советах, но об этом пишут и без нас и, судя по спорам, убедить не могут, поскольку упираются в стену неблагодарности и безнадежности (в аскетике — «печали» и «отчаянья»). Словом, темы не годились, но тут помогла судьба.

Я упросила одно издательство, чтобы мне давали прочитать и, если нужно, поправить переводы некоторых книг. Делая это и правя статьи для богословского журнала, я заметила, что самые разные тексты похожи, и сходство это в какой-то мере поддается описанию. Описать его стоит по нескольким причинам, и я опишу Вам, в «НЗ».

ПРИЧИНЫ

Дикости, вроде «Мадонны кобр» (см. «НЗ». 1999. № 1(3). С. 40), «царя Герода» или «Иоанна из Красса» (Хуан де ла Крус, Иоанн Креста) все-таки вопиют к небу и бывают довольно редко; как-никак, они — штучные. Странности, о которых я хочу рассказать, идут всплошную, сдвигая весь текст.

Когда они его сдвинут, писатель становится другим, обычно — более грубым или (и) более скучным. Он теряет голос, пафос, дыхание, а если все это у него было, то жалко. Писателей проповедующих это просто убивает — появляется тот невыносимый привкус, которого и так достаточно в религиозных писаниях, но у них, на их языке, не было.

Наконец, здесь, как бы несерьезно, легче предложить, чтобы издательства давали такие тексты тем, кто

возьмется их исправить. Поверьте, дорогой Успенский, возьмутся многие. Стихи тоже пишут не для выгоды. А тут — и авторов жалко, и самый язык.

Вероятно, так переводят потому, что так пишут. За эти мерзкие десятилетия канцелярит побеждал сверху, сленг — снизу. Чудо еще, что есть далеко не только это. Но многого уже не слышат, не замечают; и сейчас я перейду в область ультразвука.

Надеюсь, Вы помните мою бабушку Марию Петровну. Она, бывшая классная дама и преподавательница словесности, чья жизнь практически кончилась в 1917 году (умерла она в 1977 г.), твердо знала, что в русском языке нет и быть не может слов «купальник», «зоосад»/«зоопарк», «учеба», «молодежь», (несомненно, ее огорчило бы и слово «выпечка»), а от глаголов «одеть» и «довлеть» в недолжном употреблении невыносимо страдала. Тем временем другая бабушка, Эмилия Соломоновна, родившаяся тоже в 1881 году, восклицала «Вейз мир!» и «Готыню!» (так), употребляла *accusativus cum infinitivo*, а при случае — и абсолютные конструкции. Можно решить, что правда — посередине; можно не решать, загоняя в неприкосновенный запас языка хоть что-то из мнений Марии Петровны.

ТЕПЕРЬ — СТРАННОСТИ

Первая, главная — старый, добрый канцелярит. Сколько про него ни пишут, он не сдается. Мало того — как в пропаганде или в проповеди, его ругают именно те, кто им пользуется. Снова и снова мы видим глаголы-связки, и не только дорогое всем «является», но и загадочное «суть» в единственном числе. Снова встречаем пассивы, цепочки

родительных падежей («изготовление полей шляп») и конец канцелярита, комки отглагольных существительных, которые заодно уснащают текст ассонансами на манер акафиста (...ание, ...ение). Кстати, цепочки генитивов часто появляются именно из-за этих комков.

Сюда же, хотя уже не к синтаксису относится любовь к слову «чувство» — «чувство жалости», например. Кажется бы, калька, но нет — любовь. Это возникает и там, где в оригинале ничего подобного нет.

Однако об этом все же писали; а вот — неожиданности.

Почему-то вопросы неуклонно начинаются с «И» («И когда же вы пришли?»), обретая легкий одесский призыв. Что говорить, это бывает, но нужны хоть какие-то основания! О фразах, начинающихся с «Но», я уж и не говорю. В одном абзаце по три штуки.

Легкий одесский акцент — и у вопроса «Почему нет?» Можно сказать «А что?» но не хочется. Есть он и в слове «пара» (вместо «несколько» и т.п.); а вот у «где-то» вместо «примерно» — акцент разухабисто-советский 60—70-х годов.

Огорчает и слово «девушка» в роли местоимения (скажем, «Вошла Мэри. Он спросил девушку..»). Местоимений вообще боятся. «Женщина», «мужчина», «парень» в этой роли идут по разряду дикостей; но годится любое существительное. Вот пример: «Жена окружала его заботами, в которых нуждался писатель», — все он же, заметьте, не другой¹.

¹ Скрупулезности ради заметим: если бы стояло «нуждается», был бы совсем другой смысл, не местоименный, обобщающий. — *Прим. Т.*

Слова «кажется», «вероятно», «видимо», «по-видимому» уступили место слову «похоже», а иногда — и неприятному «думается». Может быть, влечет к себе мечта о литературности? Пишут же «Не правда ли?», «Не так ли?» среди полной фени, не считая возможным спросить «Правда?» или прибавить после вопроса «..., а?» или «да?». Вообще, прямая речь — странная. Фраза набита всякими «врубился», «вырубился», «сечешь», а синтаксис — оловянный, хоть половину выламывай. Естественно, легкости и правдоподобия разговор не обретает.

Не придает их и то, что англичане тыкают лакеям и дворецким. От этого я чуть не плачу, но тщетно; видимо, тут полный ультразвук. Однако невоспитанным быть не хочется, и «Вы» исключительно часто пишут с большой буквы в чьей-то речи, не в письме. Но это уже орфография (или все-таки нет?).

Лексика — ну что о ней скажешь? Нечувствительность к вульгаризмам уравнивается нечувствительностью к словам, которые вообще-то есть, но то ли пропитались духом недоброй памяти собраний, то ли сами склонны к нему по объему смысла. Изящно избегая постоянных (и незаметных) «сказал», переводчик рад заменить их жестяным «заявил», слову же «говорит» охотно предпочтет «утверждает». Словом, так и кажется, что цель — уподобить текст статье или документу 50-х, 60-х, 70-х годов.

ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

Конечно, здесь — далеко не все, здесь — то, что постоянно повторяется. Почему — не знаю. Предположим,

так теперь можно; но нужно ли? Доктор Хэмфри в честертоновском «Возвращении Дон Кихота» считает, что людей поразила глазная болезнь, они не страдают от плохих красок и не отличают их от хороших. Казалось бы, людей поразила болезнь слуха; но, к счастью, это неверно. Недавно Наталья Мавлевич напечатала в Ex-Libris невероятно трогательную статью о переводах «Карлсона» и говорит там, что в новом, переводе, которым заменили перевод Л. Лунгиной, его не полюбят, а там — и не купят. Честертон прав, люди лучше, чем можно подумать. Действительно, если перевод даже не противный, а плоский, глухой, писателя принимают туго и книгу меньше покупают.

Помню, отец Александр Мень (которого — стоит ли говорить — я очень люблю) показал мне во времена самиздата перевод Хуана де ла Крус, с французского (!) на чудовищный. Когда я взвыла, он создал притчу о коте: если ценишь кота, примешь и в мешке; если не ценишь, не примешь ни в каком виде. Конечно, я с этим не согласна, ремесло наше теряет тогда последний смысл; но, оказывается, не согласны и просто люди, занимающиеся другими делами.

Что же до нынешних, странных, «средних» переводчиков, их слух намного хуже. Смотрите, Успенский, как это похоже на ту глухоту души, о которой сокрушаются и Библия, и Пушкин, и Тэффи («круглый дурак» в отличие от обычного), и Набоков с Бердяевым («пошлость»), и Честертон («вульгарность» и просто «глупость»), и мы сами много лет назад, когда обозначили ее латинским «х», поскольку такое свойство легче учуять, чем опи-

сать. Доктор Хэмфри прав, слепота и глухота — болезнь, отделяющая от истины и свободы, легкости и красоты. Сколько лет люди вынужденно жили без этого! Стоит ли набивать им уши ватой?

Обнадеживает то, что перевод исчезает. Ученые и развлекательные книги читают в оригинале. Остальное, действующее на сердца и утробы — Борхеса, Вудхауса — переводят странные существа, которым непременно нужно, чтобы, как сказал Мандельштам, это было по-русски. Вообще-то, так обстоит дело не столько у нас, сколько в Англии, но вот-вот дойдет и до нас.

А пока — несчастный читатель, у которого сердце и утроба настроены все-таки на русский, берет какую-нибудь из дивных англичанок, писавших детективы, и узнает, кто убил, но не оказывается в целебном поле свободы и уюта, мудрости и смеха, достоинства и умиления.

Ваша Т.

P.S. Несколько лет тому назад, по-видимому — с запозданием, я удивилась странному слову «комфортно» («...ый»). Произнес его лектор, говоривший о св. Фоме Аквинском, и удивительное сочетание поразило меня. Конечно, уже вошли в обиход и «гандикап» и «имидж», и много таких слов, даже «дистрибьюция». Иногда это новое понятие, иногда — добавление к старому, иногда — машинальный и неприятный перенос. Обычно их употребляют в не очень отработанной речи, а вот «комфортно» спокойно приняли самые просвещенные люди. Почему? Может быть, «удобно» — что-то более материальное? Но есть другие слова, хотя бы «хорошо»

(«Мне здесь хорошо», а не мучительное «Мне здесь комфортно»).

Собственно перевода это не коснулось. Однако заветы Марии Петровны мешают мне многое принять.

3. Профессия — переписчик

Наверное, многие подумают: «Это называется рирайтер» — и ошибутся. Так называется не «это», а что-то значительно более логичное. Какой-то человек, разбирающийся в своем непосредственном деле, коряво говорит или пишет. Другой придает его речи внятность, а то и блеск. В пределе — Моисей и Аарон.

Переписчик — совсем другое, странное, новое занятие. Берешь текст, полный ошибок, особенно — связанных с реалиями; синтаксически рыхлый, если не хуже; лексически — насыщенный иностранными словами, а то и чем-то вроде фени. Смотришь на оригинал, сначала надеешься править, потом, махнув рукой, переводишь... С той помехой, что права на ошибку уже нет, себя править негде, надо вписывать между строк или на полях.

Если оставить, как было, так и напечатают. Некоторых писателей уж очень жалко! Конечно, всех не переписешь, но — пытаешься.

Кто же и как создает первоначальный текст? Этого я еще не поняла. Почти все они — милые; почти все — настороженно-обиженные. Это прискорбное качество способствует тому, что большое невежество пробуют погасить большими претензиями. Претензии приводят к достаточно

печальным результатам: человек, не знающий что Неро — это Нерон, Фило — Филон, Довер — Дувр (все примеры из жизни), берется не за чтиво для лотков, а за любой, просто любой текст — религиозный, философский, сложнейшего писателя. Текст требует огромного опыта, сомнений, самопроверок, тончайшего вслушивания — а его гонят на компьютере, часто даже не прочитав (тоже из жизни).

Прямые ошибки, все эти «голос черепахи», «король Саул», «у Нанка Димиттиса» (Nunc Dimittis — «ныне отпускаеши») — далеко не самое страшное. Ошибки есть у всех, пусть не такие дикие. Много десятилетий в прекрасных переводах мы читали о «кролике по-валлийски», думая, что это блюдо из кролика, а не гренки с сыром. Недавно я перевела *сгêре suzzete* как «шелк», тогда как это «блинчик». Ничего хорошего здесь нет, проверять надо все, но нужен в этих случаях не переписчик, а обычный редактор.

Страшное начинается (да и кончается) в ткани текста, в его синтаксисе. Желая сделать текст живым, современным и т.п., уснащают его «прикольными» словами, и отсутствие слуха мгновенно мстит, поскольку даже в этом стиль не выдержан. Больше всего украшений — из лексикона контркультуры (который, как сказала бы Тэффи, уже «прошлогодний стиль нуво»), но есть и феня в прямом смысле слова, и говорок 50-х — 60-х с отсылками к «Двенадцати стульям», и что угодно. А фраза висит, она несоизмеренно длинна, в ней есть пассивы, цепочки родительных падежей, глаголы-связки, все признаки канцелярита, и венец его — комки отглагольных имен. Сюда уже никакой сленг ни живости, ни блеска привнести не может.

Перевод — профессия, которой долго и тяжело учатся, прочищая слух, ставя голос или, если хотите, разрабатывая руку. Переводчика можно сравнить не только с певцом или пианистом, но и с актером или с очень кропотливым реставратором. Ни у одного из этих людей при любом даровании искусство без ремесла не устоит.

Диапазон этого ремесла располагался между очень вольным пересказом и подстрочником (как труд Кирилла и Мефодия), авторство же особой значимости не имело. Когда-то люди помнили, что выпячивать себя неловко, стыдно. Если кто и хотел, чтобы все его заметили, приходилось это скрывать или прикрывать. Даже пересказ часто не подписывали. Сейчас таких желаний не скрывают. Но, с другой стороны, и перевод уже той роли не играет (каждый может писать и читать что угодно), а заметных людей стало столько, что они как бы незаметны.

Существует и более чистое побуждение — заработать на детей и зверей. Однако и это невозможно. Переводчики (как поэты в современных западных странах) должны иметь еще и другую профессию; я вот — переписчик для иностранных издательств. Могут спросить: значит, оттуда такие переводчики не уйдут? Да, наверное, но там часто и фамилий наших не пишут, а в русских издательствах скоро останутся только те, кто жить не может, если какой-то писатель не зазвучит по-русски. Но тут и темп работы иной, и вообще все. Издательства наши платят все меньше и все реже, становясь чем-то вроде хорошо оснащенного и безопасного самиздата.

«Малый остаток», то есть переводчики ради перевода, сохраняется, особенно здесь. Мы еще не отвыкли от своей особой роли — вроде миссионеров. Когда и кто отвыкнет, не знаю, но пока отвыкли не все.

Часто говорят, что на Западе вообще нет таких миссионеров, и снова ошибаются. Один из них — Дороти Сэйерс, последние 13 лет своей жизни (с 1944-го по 1957-й) переводившая Данте, чтобы англичане прочитали «Божественную комедию» не только со всей ее мудростью, но и со всей смиренностью, со всем юмором. Глубоко почитая эту писательницу, закончу свою заметку ее словами о ремесле: «Вспомним, что средневековая гильдия подчеркивала не только долг хозяина по отношению к работнику, но и долг работника по отношению к работе».

4. Королевский злодей

Недавно я написала, что перевод умирает, но вскоре одумалась. Скорее он сохраняется на крохотном островке, а может ли и должен ли распространиться, не знает никто. Сейчас вокруг него резво бурлит море плохого, непрофессионального, массового перевода.

Наверное, вы помните присказку: «На скрипке играешь?» — «Не знаю, не пробовал». Конечно, подобие неполное; человек, никогда не переводивший, может перевести блестяще — но только в том случае, если он хорошо пишет на своем языке. Правило это действует в одну сторону. Люди, неплохо пишущие, иногда перево-

дят ужасно, их держит буква оригинала. И другое: как любой мастер, ремесленник, на одном вдохновении переводчик не продержится.

Всякому ясно, что неуклюжая речь мучительна, она мешает и раздражает, даже если читающий не понял, в чем дело. Не стоит говорить и о том, что проповедь или что-то ей подобное такая речь гасит напрочь. А вот несомненно стоит — об особом сходстве переводческого ремесла с «духовным деланием».

Перевод труден, просто физически тяжок. Перевод требует редкой собранности и отрешенности, а за некупленные взлеты жестко мстит. Перевод — борьба с энтропией, круг по лицу бездны. Перевод предельно смиренен; если мы сами не распыхтимся, он не перевозится и не ищет своего. Наконец, перевод сочетает полное подчинение с полной, летящей свободой. Он — как хождение по канату, достаточно узкому пути.

Один литовский священник говорил, что Евангелие не принимают впрямую, потому что это «накладно». Накладно и всерьез переводить, то есть — начать, решиться; дальше, кроме трудов, будет несравненная радость. Как и с Евангелием, в крохотном подобии, люди честно не знают, что надо идти путем зерна. Что там, сел — и чеши! Получается текст, неприятный, как поддельная вера. Никакие сердца он жечь не может.

Свойства его назвать нетрудно. Если мы переводим с европейских языков, появятся скопления отглагольных имен, пассивы, связки, цепочки родительных падежей. Не будет воздуха русской фразы — личной формы глагола, но переводчик об этом не знает.

Узнать он может, этому учат. Проверив слух, читают лекции, которые мы в библейском институте называли апофатическими, то есть рассказом о том, как *не надо*. Это — предел, закон. Перевод живет благодатью — ритм, например, просто слышишь — но есть сетка, ниже которой падать нельзя. Если привыкнуть к ней или хотя бы помнить о ней, статьи переводить можно.

Теперь — самое важное. Относить это надо к себе. Вот притча, рассказанная Промыслом. Один человек просто пылал, возмущаясь чужим-переводом. Спорили, призывали к милости — ничего! Тут его собственный перевод попал к редактору, и тот с удивлением увидел слова «королевский злодей Лоурдес». Что это значило, можно выяснить из соответствующей статьи.

Нет, дело не в ошибке, они бывают у всех. Слова легко заменить, дыхание текста — в синтаксисе, а человек нелеп и слаб. Но помни хотя бы, что сам ни от чего не застрахован! Прежде, чем начнешь негодовать, оглянись на себя.

5. Король Саул из Тарса

Эти странные слова я, к сожалению, не придумала. Разгадать их можно по примечаниям Владимира Андреевича Успенского. Здесь и сейчас речь пойдет о другом.

Собственно говоря, гораздо больше я хотела бы написать, почему не убиваешь переводчика и не выбрасываешь перевод. Говоришь себе: «Да переведи ты сама!» Но ждать, пока ты со своей филологией и всякими вслу-

шиваниями будешь тяпаться, никто не станет. Перевод готов, и он — «вполне ничего», а печатают теперь быстро. Это как раз маленькие издательства; остатки прежних бронтозавров такого в руки не возьмут, и печатают они медленно, но редко. Маленькие издательства, сколько я их видела, состоят из исключительно милых людей, но не филологов, или, скажем, библиистов. Жалобы на то, что Гийома Оранжского спутали с Вильгельмом Оранским, теперь смешно и вспомнить. В тонком, но очень почтенном журнале можно прочитать, что мужа Эммы Бовари звали Чарльз, а еще там был некий Гомес¹. Это очень странно, потому что легче легкого взять русский перевод.

Итак, королем Саулом дело не ограничивается. Переводы ужасны сами по себе. Казалось бы, произошло настоящее чудо, язык против всякой логики не вытоптали, много народу пишет по-русски так умно, легко и блестяще, словно советских десятилетий не было. Кроме того, читать и слушать надоело, что переводчики у нас (с горя) — больше чем переводчики. Если бы! Очень многие владеют только канцеляритом, куда вставлены наименее уместные образцы нынешней фени. Самое трудное — найти грамотный, корректный перевод без муз и взлетов. Если надо жечь сердца людей — переводчики найдутся. Если надо перевести что-то вроде научной статьи — канцелярит, хотя и без фени.

Лучше любая бестолковость, чем советская власть, тем более что именно она бестолковость и порождала,

¹ Неужели стоит напоминать, что «Шарль» и «Омэ»?!

от бессмысленности и страха. Отрешенность непуганых людей действительно меня умиляет, я не «шучу», я рада за них. И все-таки расскажу притчу.

Один человек оставил книгу для другого человека, попросив нескольких девушек передать ее, когда тот придет (сюжет упрощаю — в жизни напутали больше). Через три месяца человек Б, как выразился бы Вудхауз, случайно спросил человека А, где книжка. Человек А стал звонить девушкам, умоляя найти книгу, совершенно необходимую для работы. Он к ним и заходил; все вдумчиво обещали поискать. На пятом месяце не имевший никакого отношения к этим делам человек В, тронутый метаниями человека А, решил открыть ящик одной из упомянутых девушек. Книга лежала там.

Повторяю, это — притча в чистом виде. Виноватых тут нет. Если бы кто-нибудь стал девушек ругать, я бы напомнила про камень. Мы все теперь такие. Что-то это дает — скажем, труднее быть громкокипящим обличителем, хотя тоже бывает. Выводов делать не стану, лучше вспомню Павла Тарсянина: сила Божия совершается в немощи. Россия удивительна тем, что за нас работают ангелы.

6. Новые недоумения

1. Купила я книжку — видимо, хорошую. Правда, то, что в ней сказано, уложилось в одно эссе Честертона и одну главу Льюиса, но написана она для тех, кто в жизни своей не слышал простых христианских истин. Об этом можно было бы поговорить, но я — не буду; мало того, я не скажу, что это за книжка. Цель этой заметки — про-

стоя: чтобы те, кто ее издал (есть переводчик, а есть и редактор), больше так не делали.

Много переписала я нынешних переводов, и многое в них бывало — канцелярит, феня, «король Саул из Тарса», но такое даже мне не попадалось. Канцелярит — предельный, «является» — все время, пассивы, цепочки родительных падежей, наборы отглагольных существительных. Хорошо (то есть плохо), «все так пишут». Но если есть редактор, почему не узнать, что Беллок — не женщина («... переведенную... Хилори Беллок...») и дальше «перевода, сделанного (...) Беллок»), а кстати и не Хилори, даже не Хилари; что «Иоанн из Красса» — Хуан де ла Крус или Иоанн Креста; и еще много чего, в том числе — что в 1 Послании к Коринфянам все-таки не написано:

«Любовь долго страдает и это благо; любовь не есть зависть; любовь не кичится собой, она не самодовольна... Любовь не ищет жизни для себя, ее не легко добить, она не боится зла ... переносит все, верит во все, надеется на все и терпелива ко всему. Любовь не бывает неудачной, но будучи направлена, она не сбивается с пути, будучи на языке она проходит, будучи в мыслях она исчезает»¹

Недавно Борис Владимирович Дубин писал в 1 номере журнала «НЗ» о том, что так, вот так, переводят философские, религиозные, трудные книжки. Ну, переводили бы чтиво для лотков — жаль, но все же меньше!

¹ Далее в тексте: «Вот краткое и очень красивое изречение в отношении разницы...»

Зачем братья за сложные и тонкие тексты? Я не понимаю.

2. Почему у многих книг или нет редактора, или лучше бы не было? Сейчас читала хорошие книги известных ученых. Там — вот что: Жагеллоны / Пиасты / Барба Радзивильская / варшавский храм Сен-Жан / Жан Замойский / св. Этьен / Венцеслас / Ладислас / Огюст де Сакс / Лоран ле Манифик (он больше всех мне нравится) и, конечно, Шарли, Жаны, Жаки любых национальностей. Это — первая книга. А вот — вторая: Татиен / Лактанс / Фредерик Великий / Марсион и др.

Это — ясно, просто чешут, как по-французски. А есть и странное. Например, Бультман стал Родолфом Балтманом — видимо, решили, что он англичанин или американец. В примечаниях тоже загадки. Например, автор их (наш, конечно) серьезно предупреждает, что не уверен, о каком из двух святых Бернаров (да, без «д») идет речь. Что ж, их действительно два. Текст ясно показывает, что здесь говорится о Бернарде Клервосском (по переводу — «Клервонском»). Но почему в примечаниях в виде второго Бернарда предлагают Фра Дольчино (здесь — «Бернар Сладостный»), который уж точно в разряд святых не попал? Кстати сообщается, что бернардинцы — «псы Господни». Это не так. Лучше уж просто не писать.

Редактора в этой книге нет. В первой, откуда запомнила Жагеллонов — кажется, есть. Может быть, приглашать хоть студентов, они обычно что-то знают. Переводишь, скажем, с французского, но встречаются в тексте и люди других стран. Посади прилежного студента, он

и вспомнит, кто как произносится. Кстати, почему-то беды — — именно с французским. Английский получше; припоминаю сейчас одного Дэвида Динанта (Давид Динантский), да и то в газете.

Видите, какие скромные просьбы. Канцелярита студент не выправит, не решится, а как его много!

Про бедных Ягеллонов заметим, что в переводе с польского или с литовского они оказываются Ягеллончиками (сама видела).

Крепче меди



1. Крепче меди

Давно, в середине пятидесятых годов, я стояла в букинистическом магазине на улице Качалова, чтобы купить «Леди Джен» вместо моей бывшей, детской, пропавшей в начале сороковых. В той же очереди был человек, который не мог этого вынести. Он обличал и меня, и книгу; получалось, что все беды от тех, кто «такого» начитался. Где он видел людей, воспитанных на «Леди Джен», — не знаю; скорее всего, они вымерли раньше, а кто выжил — перевоспитался, как мог. Но он их ненавидел. Если бы их ненавидели меньше, они бы не так основательно исчезли.

Прошло еще несколько десятилетий — больше, чем с эпохи «таких книг» — и стало видно, что просто дышать нельзя без некоторых человеческих свойств. Теперь об этих свойствах то и дело пишут, словно у пишущих-то они есть, но беда именно в том, что их нет почти ни у кого, очень уж накладно было их сохранить и передать. Новые и новые дети ходят в церковь; а много ли детей жалеет слабых, не смеется над другими, не спешит занять место в автобусе? Хуже того — много ли взрослых именно этого от детей хочет? «Высшее не стоит без низшего», и своекорыстный, немилосердный ребенок, будто

бы любящий Бога, ничуть не лучше ребенка, который о Боге не знал. Может быть, к нему еще не относятся слова о фарисеях, но он куда несчастнее того, незнающего: когда-нибудь ему придется искать Бога ощупью, на свой страх и риск, чтобы избежать привычного двоемыслия.

В книге «Духовная жизнь детей» Роберт Коулз пишет о том, о чем сказано в Евангелии: дети отделены от Божьего Царства гораздо меньше, чем мы, взрослые. Они не «лучше» нас, вот это было бы руссоистским прекраснородушием; они именно ближе к Царству, перегородка тоньше. Если переучивать их, такое знание уйдет вглубь, затуманится, исказится; если не переучивать — оно есть, и действовать на детскую душу надо бы, зная это.

Свойства этого царства — красота, правда, милость (взрослые чаще говорят «истина, добро и красота»). Начнем с истины, с жизни «по справедливости». Честертон писал, Льюис и Толкин повторяли, что справедливость важнее для ребенка, чем для нас — мы чувствуем, что вправе надеяться только не милость, на жалость. Наверное, здесь много правильного (пишу осторожно, потому что и со взрослыми это не совсем так, и с детьми). Дети, еще не отупевшие от себялюбия, ищут правды; они четко видят ту разницу, о которой говорили ангелы Рождества: бывают люди «доброй воли», а бывают — злой. Примерно это и понимает ребенок, говоря «хороший» и «плохой» (ребенок, отупевший, как готтентот у Соловьева, понимает под этим «тот, кто потекает МНЕ» и «тот, кто не потекает»). Большое счастье, если книга их подержит.

Как и у взрослых, только ярче и четче, тут возникает опасность: можно заключить, что с «плохими» и обращаться надо плохо. Тогда вступает тот великий закон, который Честертон в одном из романов называет «бей кверху». Если с кем-нибудь и можно «обращаться плохо», то исключительно и только с теми, кто сильнее тебя. Скажем, с какими-нибудь смешными детьми или с нелепыми стариками — нельзя. Не знаю, может ли, да и должен ли мальчик понять, что вообще ни с кем нельзя: а вот девочка может и должна. Сентиментальность «таких книг» отсюда и берется. Они написаны для того, чтобы девочка навсегда запомнила мир, где милость еще важнее, чем правда.

Но правда — совсем, милость — отчасти связаны с рассуждением, а оно не способно сохранить что-либо навсегда. На это способно «сердце» — та сердцевина души, о которой часто говорит Писание. Именно сердце, а не какое-то «эстетическое чувство», отзывается на райскую красоту.

Книги, подобные «Леди Джен», показывают ребенку мир красивый, как сад, или торт, или елка. Можно считать, что взрослый с такими вкусами — мещанин или дурак; можно считать, что он — Честертон или Диккенс. Очень важно, что светлое, сияющее и яркое связано в этом мире не с большим, а с маленьким, так что скорее это не сад, а садик какой-нибудь. Город еще недавно был таким, и для меня, к примеру, таким остался, особенно тот город, где я жила в детстве (Питер) и тот, где жили в детстве мои дети (Вильнюс). Внуки живут в Москве и нередко видят в ней такие места и сады, и я с ними вижу, хотя и мечтаю, чтобы стало немнож-

ко почище¹. Но ведь и Новый Орлеан прошлого века был грязноват, а уж диккенсовский Лондон — тем более.

Так все и совпадает. Истина, милость и красота разобщены только там, где есть грех (прикиньте сами, какие тут могут быть сочетания). И вот, как бы индукция: перед нами — мир, где они не разобщены, значит — в этом сердце, в сердцевине, возникает Божье Царство. Конечно, не захочешь, вытолкнешь его — оно не возникнет: зато если примешь «как дитя», чего оно только не вынесет!

«Леди Джен», которую я прочитала шести лет, вынесла часть тридцатых, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы². Дай Бог, чтобы вашим детям не выпали уж настолько враждебные этой книге времена, но «мир сей» всегда враждебен добру, красоте и правде, так что — очень хорошо, если и у нынешних читателей останется, как сказали бы теперь, модель или эталон прекрасного, чистого, справедливого мира. Поддержите их в этом, не мешайте им, не смейтесь над ними.

2. Наполовину полон...

Можно ли описать, как важна сейчас игра Поллианны? Вот, дети читают «Властелина колец», и во второй книге, «Две твердыни», есть Денетор, отец Боромира и Фарамира. Городу грозит опасность, а старый правитель просто отказывается жить; подданные же, теряя немало време-

¹ Слава Богу, стало. Жалобы и мечты относятся к концу 80-х.

² И 90-е, и половину 2000-х.

ни, помогают ему умереть (как это было, лучше прочитать в замечательной саге). Хуже того — они теряют мужество, и совсем бы отчаялись, но мудрец Гендальф идет к воротам, видит страшное воинство — и слышит, наконец, освобождающий крик петуха.

Что ни день, вспоминаешь Денетора. Как раньше раздраженно отмахивались, когда ты просто жить не мог в нашей былой душегубке, так теперь ни за что не разрешат ни радоваться, ни надеяться. Альберт Швейцер когда-то назвал это, если не ошибаюсь, массовым оптимизмом и массовым пессимизмом.

Для христианина ни то, ни другое невозможно. Он, как апостол Петр, идет к Христу по воде. Если он думает, что под ним паркет или хотя бы настил, он жестоко разочаруется; под ним бездонное и страшное море. Если он думает, что по воде идти нельзя, он прав, но не христианин. Бог обещал нам, что поможет, только бы мы решились.

Как и все в христианстве, это — «безумие», если сравнивать с «мудростью века сего». По этой мудрости разумен или оптимизм, или пессимизм. Однако есть и еще один закон — долго в такой разумности не продержишься. Постепенно человек сползает к странному состоянию: он и глубины не видит, и идти не может. Оптимизм сменяется пошлостью, пессимизм — безнадежностью, и сочетание их дает особое безумие, противопоставленное уже свету и разумности веры. Все мы видели его; спасибо, если только видели.

Такого безумия много всегда; что же до «пессимизма» и «оптимизма», в разные времена то больше одного,

то больше другого. Сейчас безнадежности больше, чем пошлого благодушия. Поэтому книги Честертона, Толкина, Диккенса кому-то кажутся очень уж глупыми, кому-то — просто необходимыми. Для детей всегда писали так; и взрослые, уставшие от «чернухи», очень рады детским книжкам. А уж «Поллианна» — чистый экстракт, упражнение на эту тему.

В англоязычной литературе много таких книг, но все же «Поллианна» — эталон. Прелестнейший юморист Вудхауз пишет об особенно хорошем пиве: «просто Поллианна какая-то!», и всякий понимает: «значит те, кто его пьет, видят во всем лучшую сторону». Мне кажется, у этой книги есть только две соперницы: телеграмма маршала Фоша: «*Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente...*»¹ и притча о человеке, которому сказали, что театр наполовину пуст. Менее известно эссе Честертонна «О ловле шляп», где он упорно описывает все мелкие беды как увлекательнейшие приключения. Предела этому нет: один американец говорил, что смерть — прекраснейшее приключение; примерно такую же фразу мы найдем у Джеймса Мэтью Барри.

Попробуем так поставить душу нашим детям (и себе самим), чтобы они никогда не уподобились ни бабке из Пушкинской сказки, ни умнице Эльзе из сказки братьев Grimm. Одна не знала благодарности, другая — надежды, и обе были правы, если бы мы не могли довериться Богу, как доверился когда-то Авраам. Без такой вверенности

¹ Центр отступает, правый фланг отступает, положение превосходное... (франц.)

люди очень, очень несчастны. Хотим ли мы этого детям? Конечно, если Богу не верить, все иначе; тогда, как бы это ни было печально, надо ставить душу по-другому. Но об этом я ни судить, ни писать не могу, потому что Богу верю.

И все таки на этом кончать нельзя. Я вспомнила еще одну фразу-соперницу «Поллианне»: в начале 30-х годов Николай Робертович Эрдман, автор «Мандата» и «Самоубийцы», сказал: «Как я люблю продовольственные затруднения!» — и в скорости сел, хотя не только за это. Да, есть времена и положения, когда игра Поллианны возможна лишь в таком виде; в прямом она кощунственна. Но, видит Бог, наше время — не из таких. А главное, игру эту надо применять к себе, в крайнем случае — к тем, кто просит утешения; иначе, в любое время, получится то, что Честертон назвал «оскорбительным оптимизмом за чужой счет». Люди очень легко советуют радоваться, если беды — у других. Могут ли они честно играть в нашу игру, показывает другое: что они делают, думают, говорят, если беды у *них*. Самый черствый вид утешения — слова типа «Take it easy» (у нас появилось совсем уж дикое выражение «Не берите в голову»). Апостол же говорил: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Вот самое главное: отсчитывать от другого, не от себя.

3. Человек Благородный

Когда мы решили издать снова книгу о маленькой принцессе и рассуждали о том, в какой мере надо править старый текст, одна молодая женщина, очень чуткая к слову, как-то странно ругала перевод. Наконец оказалось, что ей просто не нравится Сара, какая-то она гордая — и она думает, не перевод ли тут виноват.

Нет, не перевод. Хотя потом, из-за других недостатков, мы от него отказались, дело — в самой повести. Гораздо привычней в книгах тех лет робкие и нежнейшие героини, вроде леди Джен или Бетси из «Маленьких женщин». В детстве я тоже любила их больше, чем Сару, она казалась мне слишком взрослой, сильной, что ли. Оба эти качества, или одно из них, наверное, покажутся скорее достоинствами, чем недостатками, и, приступая к разговору о Саре сперва поговорим о них.

Мы жили в чудовищное время. Проще сказать, хотя бы — предположить, что «сильный» лучше этому времени противился. Но слово «сильный» так неоднозначно... Спросите, и чаще всего услышите, что это — «тот, кто умеет настоять на своем», «властный», даже «напористый». А вот Бердяев говорил, что самая большая слабость — убить кого-нибудь, и чем твои действия к этому ближе, тем ты слабее. Тогда получится, что, скажем, обругать, оттолкнуть, пройти без очереди, вообще схватить себе, не уступить другому — слабость, а не сила.

Да что Бердяев, Пушкин пишет: «Нежного слабей жестокий!» А традиция томизма включает в «добродетель силы» терпение и связывает с ней — кротость. При-

киньте сами, сколько надо силы, чтобы что-то перетерпеть, тем более — укротить свой гнев.

Переводя на русский язык труды по нравственному богословию, название этой добродетели иногда передают не словом «сила», а словом «мужество» или — что особенно важно в данной связи — словом «стойкость». По-видимому, слово «сила» безнадежно пропиталось мирским своим толкованием, и, если употреблять именно его, даже наши несложные рассуждения покажутся сложными или, не дай Бог, «оригинальными». И тут приходят на память рассуждения Честертона о моллюсках и позвоночных. Сильный в ходовом смысле слова — как моллюск, у него очень толстый панцирь; сильный в должном смысле слова — позвоночный: панциря нет, держит что-то твердое внутри. Действительно, тогда очень уместно слово «стойкость». А рассуждение, на которое мы сейчас ссылаемся, посвящено благородству — качеству, которое необычайно высоко ценили не только дохристианские мыслители — скажем, Конфуций и Аристотель, но и святой Фома Аквинский. Вероятно, это понятие, это свойство — уместнее всего, когда думаешь о Саре Кру.

Теперь очень часто пишут о порче, даже о гибели генфонда. Слава Богу, чудо есть чудо, и люди, без Бога и без чуда, были бы намного хуже. Оглянитесь, сколько прекрасных людей. Но войдем в троллейбус, встанем в очередь, хоть на круглый стол какой-нибудь пойдем. Что там особенно удивляет?

Надеюсь, вас удивит, что довольно многие люди, вплоть до самых высокоумных, гордятся — оборотистостью, стыдятся бескорыстия. Понятия «достоинство»

вообще нет, ни своего, ни чужого. А уж делать что-то себе во вред (не нравственный, шкурный) — это глупость и больше ничего.

Как же тогда полезно еще в детстве прочитать о девочке, которая жила не шкурно, а достойно! Помните, она знает, что способна даже убить, если ее доведут, но не способна поступить низко, солгать ради выгоды. Вы скажете, не проще ли читать о святых. Нет, не проще (хотя и лучше), потому что за эти несчастные десятилетия ставка на «умение жить» очень сильно пропитала души. Послушает несчастный ребенок Евангелие — само Евангелие! — а после услышит, как верующие люди говорят, например: «Одиннадцатая заповедь — умей крутиться» (это — «теория») или «Беги, беги, садись, а то место займут!» (уже практика). Что ж? Или он научится двоемыслию, или растеряется вконец, и, как это ни печально, верующим не будет.

Попробуйте теперь прикинуть сами, как неукоснительно благородна Сара, недаром она — принцесса, маленькая королева. Это — символ, королевы и принцессы бывают сколь угодно «бойкие», но ведь детская книга — это притча. Кстати, о «бойких»: в середине 30-ых годов одна женщина, истинный ангел, так и делила людей на «бойких» и «тихий», а к «тихим» относилась и вполне шумных, зато свободных от мелочности, склочности, хваткости, властной и своекорыстной мирской доброты и т.п. Например, тихим был бы для нее Честертон, если бы она его знала.

Но было у нее еще одно определение, противоположное «тихому»: «важный». И тут мы подходим к очень

значимой тонкости. Нравственная философия, еще с Аристотеля, учит, что каждое хорошее свойство может исказиться, и получится похожее, но плохое. Христианские учителя уточняют, что это — особенность падшего мира. Сергей Булгаков говорит: «...все двоится в природе падшей, даже и райские дары, после потерянного рая».

Да, двоится. Особенно, когда надо отстаивать некий тип поведения против другого, почти поголовного. Самые благородные люди, которых я знаю, по-античному горды, они неумолимы и четко отделяют себя от «низких». К счастью, только один из них — христианин, и ему приходится отчаянно опровергать все, что Христос прямо сказал нам хотя бы в Нагорной проповеди.

Так бывает всегда, это — одна из причин, по которым люди боятся принять напрямую Евангельские просьбы и советы. И то, как же быть тогда, как сохранить себя, как не сдаться? Это на низких, на своекорыстных, на бойких сиять как солнце? Но тут я останавливаюсь. Здесь уже не этика, в ее измерения не уложишься. А вот то, о чем мы сейчас поговорим, с этикой связано.

К. С. Льюис пишет: «Рыцари [...] не испытывали ни любви, ни милости к простому люду. В своем кругу у них были на редкость высокие понятия о чести, великодушии и учтивости. Осмотрительному и своекорыстному крестьянину эти понятия показались бы просто глупыми. Рыцари с его мнением не считались, а если бы посчитались — у нас самих было бы теперь гораздо меньше чести и учтивости. Тому, кто не слышит крестьянина, высмеивающего честь, было легче не услышать его, когда он взывал к милости. Неполная глухота, даже если она

благородна, помогает обрести глухоту полную, которая неизбежно пропитана злобой и гордыней».

Конечно, Сара, «бедных» не презирует. Крестьян в книжке нет, но есть замученные городские дети, которых нищета и унижение довели и до оборотистости, и до забитости (Бекки, Анна). Как и подобает милостивой и благородной принцессе, Сара помогает им не столько в диккенсовских, сколько в королевских традициях («мой народ»). Всё-таки, всё-таки, она «выше их» — недаром звучит совершенно естественно, что Бекки все время повторяет «мисс», а при переводе английское «You» невольно передаешь как «ты» в устах Сары, «вы» — в устах Бекки. Конечно, тут благородство без искажений, то есть без гордыни и злобы, ведь милость входит в истинное достоинство. Немилостива она с теми, кто задуман в условной, особой манере. Мисс Минчин не зря называет наглостью ее стоическую сдержанность. Да, Саре очень тяжело, когда на нее кричат, не настолько она горда, но помогает ей то, что мисс Минчин — ниже ее, принцессы, мало того — как бы вообще не совсем человек. Конечно, описать такую нелюдь Франсис Бернетт не может. Редко, кто это мог; едва ли не лучше всех — Толстой. Скажем, у Элен или у Бетси Тверской вроде бы и нет души. Их невозможно представить раздавленными, беспомощными, тем более — кающимися, нельзя пожалеть, даже когда Элен смертельно больна. Мы не знаем, есть ли и могут ли быть такие люди, это и знать не надо (все ж, опасно), но здесь, в простенькой «Принцессе» такие персонажи — просто знаки зла, черные дыры, как в мелодраме, и Сара имеет право держаться по отношению к ним с королевским достоинством.

Но ведь и Сара — в некоторой мере «знак», героиня мелодрамы или притчи. Мы не хотели бы выходить из измерений этики, в многомерное пространство, как бы его ни назвать — «истины», «жизни», или «Евангелия». И все же, видимо, придется, хотя бы намеком. В этом пространстве возникает один из безумных «парадоксов христианства» — неслиянное и нераздельное сочетание королевского достоинства и нищенской немощи. Таких сочетаний не достигают своими силами, но среди средств, которые помогают к ним стремиться — то, что войдет в душу человека, когда он еще ребенок. Очень полезно учиться в детстве благородству и достоинству; но не забудем, что здесь, как сказали бы лет двадцать назад — «экстремальная ситуация». Надеюсь, те кто будет читать о ней, живут все таки получше. А более или менее благополучным детям очень легко и очень опасно перейти черту.

Чтобы еще раз эту черту прочертить, расскажу две притчи. Одна из них — старая, и мы приведем самый уместный здесь вариант. Шли пять человек, их кто-то обидел; первый гордо презрел и обиду, и обидчика; второй ответил обидчику тем же (скажем, накричал); третий заплакал от боли; четвертый ничего не заметил, так как был отрешен и бесстрастен; пятый заплакал об обидчике. Другая притча — наверное, быль. Ее рассказывает митрополит Антоний Блюм. Кто-то на улице увидел, что молодой человек совершенно спокойно терпит насмешки, даже издевательства прохожих и, зная по опыту, как это трудно, заинтересовался, каким же образом тому удалось достигнуть такого безгневия. Молодой человек

ответил, примерно: «Буду я на них обращать внимания! Собака лает, ветер носит».

Поистине, чем такая гордыня, лучше сорваться в ответ — это очень плохо, а все же лучше. Но странность «мирского мировоззрения» в том, что детей не только учат «отвечать», им еще внушают, что заплакать от обиды — хуже всего. Делают это и верующие люди, подкрепляя свои доводы очень важной, но не очень уместной в данном случае правдой. Да, обида за себя — симптом себялюбия; не полного глухого эгоизма, а той жалости к себе, которая идет из чрезвычайных глубин души и побеждается только Божьей силой. Иногда, как в монашеской практике, почву для этой помощи готовят многолетний подвиг, долгая борьба, давно и прекрасно описанная в соответствующих книгах; иногда такая помощь дается даром; никогда не бывает она окончательной. Все равно ты в опасности, что на место человеческой ранимости придут «злейшие духи» превозношения, холода, гордыни. Но речь вообще может идти только о взрослых. У детей такого бесстрастия не бывает. Подавив в детстве жалость даже к себе, того и гляди убьешь в ребенке жалость к другим. Я говорю не о злой досаде и прочих симптомах могучего эгоизма, а о простой боли, от которой вполне естественно заплакать. Если же взрослые, борясь с ней, приводят не мирские доводы, а как бы духовные, ребенок, скорее всего, будет воспитывать в себе гордыню первого из тех пятерых, «собака лает». Собственно, в нем, не развившись, будут умирать чувства. Хуже того — они будут уходить в те неосознанные глубины, из которых потом выйдут чудищами амбиций и компенсаций.

В том-то и трудность, неразрешимая на путях этических усилий и этических правил, что одновременно надо подшибить в ребенке эгоизм, как бы проколоть этот нарыв, и не тронуть той «любви к себе», без которой не полюбишь ближнего. К счастью убить «любовь к себе» в ребенке невозможно; но (уже — к огромному несчастью) очень легко исказить ее, убить в ней именно то, что убивать не надо, загнав в подсознание самое опасное. К «школьному возрасту» получается примерно то, о чем пишет К. С. Льюис: «На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасти от бесчувственности [...] Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствение сердца не поможет против размягчения мозгов». Главу эту он так и называет «Человек Бесчувственный», а противопоставляет ему «Человека Благородного», из его трактата мы и взяли название.

Слава Богу, Сара — не из тех, кого надо спасать от бесчувственности: в ее сжавшемся, подмерзшем сердце остались жалость к Бекки и Анне, к индийскому джентльмену и к «маленьким зверькам», тяга к веселому уюту Большого Семейства. Кончить это «размышление» я хотела бы, однако, тем, что оказалось самым прочным для меня самой — сценой, когда нищая принцесса преображает свое убогое жилище. Наверное, такая способность, а главное — такое желание больше всего говорят об ее неумерших чувствах. Как ни играет она хозяйку замка и пира, в ней нет никакого высокомерия, а есть — одно из величайших сокровищ, которое нередко теряют после детства. Хуже того: далеко не все дети им обладают. Припомним, много ли мы зна-

ем детей, вокруг которых становится уютнее и красивей? Много ли мы знаем детей, которые не хнычут, чего им не додали, а благодарно радуются любому, даже такому жалобному благу? Может быть, эта сцена что-то перевернет в их сердце; а не эта — пусть хоть та, где комната и впрямь преображается. Чтобы радоваться так, как Сара, нужны благодарность и смирение, которые перевешивают всю ее вынужденную гордость. Наверное, именно они и делают ее не столько «сильной», сколько благородной в самом точном и полном смысле этого слова.

4. Вольное упорство¹

Девочка жила не очень хорошо. Родители почти не занимались ею, глуповатая и въедливая тетя — к сожалению, занималась (тут вспомнишь: «...женщин в детстве мучат тети»²), дома было скучно. Но вот, родители на время уехали, и началась жизнь, которую мало назвать интересной. Столько занятных, уютных, естественных людей, столько странных и страшноватых приключений, тетин муж — совсем уж живой и умный, он сам мучается от пустоты и фальши своих домашних, да впридачу ко всему возникает город примерно того времени, когда юный Честертон увидел его загадочным и романтичным, как

¹ «Полета вольное упорство» — строка из стихотворения «Август» Бориса Пастернака (1890—1960).

² «...женщин в детстве мучат тети» — из его же поэмы «Второе рождение».

сказочный лес¹. Читая, мы так все и видим, но мы-то читаем, а она — летает, почти не касаясь тротуаров, бежит на роликовых коньках.

Вывод несложен: не дави, не грызи, дай свободу — и маленький человек оживет, а это уже почти и не вытравить, он живым останется. Трудно не согласиться, особенно нам, которых столько давили и грызли. Мы рады за Люсинду, жалею менее удачливых детей, очарованы страной свободы.

Позже, уже не дома, мы вылезает из троллейбуса, и прямо на нас едут на чем-то вроде роликов мальчишки, не очень похожие на простодушного Люсиндиного итальянца. Удастся им сбить нас с ног, или нет, мы задумываемся. Что-то выходит не так.

Думая, мы вспоминаем, как несколько лет назад молодой отец, совсем не такой уж стоический и строгий к себе, неожиданно стал восхвалять как идеал воспитателя миссис Пипчин²! Для Дикенса хуже ее нет — она ведь не просто неласкова и немилостива, она лицемерна; но что с того! Главное — не либерал какой-нибудь, детей не распускает. А другой отец, тоже молодой, сосредоточил гнев на «Маленьком принце»³: нет, что это за апология детской непосредственности, а там — и распушенности,

¹ Г.К.Честертон (1874—1936) пишет так о Лондоне прежде всего в эссе «В защиту детективной литературы» (1901), «Загадка плюща» (1909) и в романе «Наполеон Ноттингхильский» (1904).

² Миссис Пипчин — персонаж романа Ч.Дикенса (1812—1870) «Домби и сын».

³ «Маленький принц» — повесть (или притча) Антуана де Сент-Экзюпери (1900—1945).

что хочет принц, то и делает! Сейчас таких родителей все больше, не где-нибудь, а среди высоколобых и верующих.

Вспоминаем мы и рассказы о двадцатых годах, и пытаемся воспроизвести слова довольно смешной и очень характерной песенки:

*Деточки в Америке
Отчаянный народ,
Папочка в истерике
К Паскар¹ идет
«...Ах, Паскар, скажите поскорей,
Почему вы портите детей?
Это ведь растление,
Отец я или нет?»
А правление в ответ:
«Я плевало на отца
Лам-ца-дрица-а-ца-ца!»*

В середине тридцатых годов богемным молодым родителям очень нравилось, как тут все лихо, нелицемерно и свободно. Но странная вещь случилась: именно они и были потом очень авторитарными со своими детьми, а их нынешние ровесники, хвалившие миссис Пипчин, как-то невиданно распустили своих. Что это, насмешка ангелов? Еще одно подтверждение томистской мысли: чем больше качнешь маятник в одну сторону, тем больше отлетит он в другую?

¹ Генриэтта Паскар — директор детского театра в начале 20-х гг. По-видимому, потом эмигрировала в Америку.

Не думайте, что и мне хочется выбрать миссис Пипчин или хотя бы тетю Эмили — вот, мол, не будешь на детей давить, совсем распусятя. Я не знаю ответа. У меня двое детей, шесть внуков, с детьми я была предельно либеральной; выходило разное — и хорошо, и плохо, но выправилось (и до сих пор выправляется) просто чудом. Со внуками... Снова скажу: я не знаю ответа; но могу предположить, что на таком уровне его нет. Наверное, очень надежный путь — переливание крови от личности (здесь это — дядя Эрл). Значит, если в семье или где еще не отыщется личности, дело плохо? Ну, хотя бы — очень затруднительно. Судьба, точнее — Промысел, помогут иногда иначе, но это уже — чудо, а не воспитание. И вообще, размышления тут — «для родителей», а не для ангелов-хранителей. Они свое дело знают, хотя ведь у нас, людей — свободная воля. Оттолкнуть их мы можем.

Теперь посмотрим на строчку «вольное упорство». И «воля» тут — «свобода», и «упорство» — усилие, а вместе — это полет, дело трудное. Как быть, чтобы дети именно летели, а не ходили по струнке и не болтались? Стоит ли повторять, что в мирских измерениях ответа я найти не могу?

Апостол Павел пишет галатам: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к утождению плоти; но любовью служите друг другу (Гал. 5,13). Прочитайте, пожалуйста, главу до конца, она поразительна. Но вот подумаем: наверное, тайна и ключ здесь — «любовью служите»? Добрый ребенок ни за что не захочет наехать на другого человека. Однако — снова за пределами чисто этических измерений — встает вопрос: а что делать,

чтобы перешибить пресловутый детский эгоизм? И мы все равно выходим за плоскость «воспитания». Ведь, как ни жаль, эгоизм у ребенка можно укрепить и безлюбивой суровостью (захочет компенсироваться) и учтивейшим учетом его интересов и желаний (сядет на голову).

Теперь, когда «облегченное благочестие»¹ просто лезет отовсюду со всем своим магизмом и законничеством, стыдновато писать, то что написать надо: были матери — Моника², Бланка³, Иоанна⁴ — которые смиренно и смело выходили за пределы «переливания крови». И впрямь, навряд ли христианин гордо признает себя самодовлеющей «личностью». Они ставили на чудо, молили о нем, получали его. Это бывает часто, бывает и в наше время. Говорить о таких вещах — по меньшей мере нецеломудренно, хотя именно они вернее всего. Одно все-таки скажу, про этих людей уже можно: мать отца Александра Меня, Елена Семеновна, и, кажется, его тетя, Вера Яковлевна, не надеясь на себя, препоручили воспитание детей Божьей Матери.

¹ «облегченное благочестие» — слова христианского мыслителя Блеза Паскаля (1623—1662).

² Святая Моника (ум. 387) — мать блаженного (в западной традиции — святого) Августина (354—430).

³ Блаженная Бланка Кастильская (1188—1252) — мать святого Людовика (1214—1270, с 1226 — король Франции Людовик IX).

⁴ Блаженная Иоанна (2-ая половина XII — начало XIII в.) — мать святого Доминика (1170—1221).

5. Предисловие к «Томасине»

Наверное, все дети гадают, какая тайна у взрослых. Во всяком случае, я — гадала, и помню неверные ответы. Сосредоточенность на себе? Она есть и в детях. Суета? И она бывает. Важность? Далеко не все важны, но это — ближе. Для меня правильным ответом оказалось: цинизм.

Ребёнок не знает, что, в другом значении слов, взрослый — это ответственный. Если вспомнить игры по Берну, можно сказать, что хорошее во взрослом — ответственность; но это не тайна, ребёнок просто не мыслит в таких категориях. Конечно, он не знает и слова «цинизм», но понятие — ощущает, и выразит точнее, чем этот условный, полуисторический термин: взрослые ни во что не верят, им всё нипочем, на всё начхать, они врут, и тому подобное. Спасибо, если эта разгадка придёт не в детстве, а в юности, всё-таки не так больно, можно шархнуться не к большему цинизму, а к опасному, но в эти годы — и полезному максимализму.

Если мы, пусть условно, примем такую разгадку и применим её к книгам, то окажется, что сейчас почти вся литература — взрослая. Какой журнал ни откроешь, самые умные и лучшие ведут «игру на понижение». Многие обличали её, у нас — Вышеславцев, «у них» — Льюис, но толку мало. Ум и цинизм нераздельны, если у жизни — только три измерения.

Врали писатели былых времён или «умалялись как дети», решить нетрудно, это чувствуешь. От одних — мутит (значит, врали); другие поднимают сердце горé, вводят в мир, освещённый Солнцем Правды. Это не только

суровый Дант или жалостливый Диккенс, это — Пушкин, который безусловно и неправдоподобно умён. Что там, это жёлчный Ходасевич со своими котами и ангелами, молодой Набоков в «Даре». Если бы я читала их в детстве, и поняла, я не увидела бы в них той страшной тайны. Сейчас тоже есть безусловно умные люди, к ней непричастные, но притворяться ищущим правды уже не надо, и потому — очень много взрослых книг. Никакие ссылки на Ходасевича не убедят, что играть на понижение умный человек не обязан. Мы проходим особое испытание, слишком уж много люди ввали, не в «советское время», а давно, может быть - всегда. Скорее всего, это похоже на юность: заметны те, кто отшатнулся и стал играть на понижение, и те, кто противопоставил этому жёсткость, граничащую с глупостью. Настоящее детство может выдержать только поистине взрослый, мудрый человек.

Но есть и такие люди, иначе никто не читал бы книжек о кошках и об ослице. Мало того — не так всё просто, и явственно циничные люди горевали над ними. Может быть, циничным становится разум, скажем точнее — те привычки мысли, которые его заменяют, но не сердце в библейском смысле слова? Массовая словесность, обращённая даже не к сердцам, а к утробам, это учла, она очень четко разделяет добро и зло, хотя уже есть и такая, которая их не разделяет. Мне кажется, вторая не продержится — чтобы питать цинизм без ума, читать вообще не стоит, лучше подойдёт соответствующая музыка или что-нибудь зрительное (всё-таки слово не зря называется словом!).

Гэлликот нетрудно отнести к массовой литературе, но что-то мешает. Конечно, если принять, что без «игры на

понижение» истинной литературы нет, не помешает ничто. Однако придётся выбросить многое из классики; это, собственно, и делают последовательные англичане соответствующей школы. Если согласиться с ними, книги его окажутся за пределами словесности. Но там же будут и Честертон, и Льюис, и Чарльз Уильямс, а отчасти — и те, кого мы недавно называли.

Печальный и взрослый Грэм Грин об этом думал. Правда, ему самому удавалось писать романы, где мир — беспросветен, но в том-то и суть, что беспросветен мир, а не жертва и не чудо, спасающие его. Так вот, Грэм Грин чудом и жертвой спасшийся от цинизма, писал так: «...Если литература должна изучать природу человеческую, христианской литературы не бывает. Тут — явное противоречие: безгрешная литература о грешном человеке. Мы можем создать что-то великое и высокое, выше литературы — и, создав, увидим, что это не литература вообще». («Почему я пишу»).

Наверное, в этом смысле книги Гэллико — не литература. И всё же, вынося на время за скобки размышления о том, есть ли в несомненной литературе остаток, оправдывающий её «при свете совести», можно подумать о другом. Сейчас, когда цинизм всё чаще сочетается с той категоричностью, которая и есть первый признак глупости, хорошо прочитать дурацкую, детскую книжку.

На этом бы и кончить, но от древних сказок до «царского пути» у Отцов Церкви все говорят нам: видишь Харибду — ищи Сциллу. В чем же она? Нет ли у взрослых ещё одной, как бы противоположной особенности?

Увидеть её нетрудно, почувствовать — ещё легче. Назовем её «игрой на повышение». Тут будет и категоричность,

и важность, и глупость — но не только. Остается особый привкус несвободы и неправды, из-за которого Харибда так часто кажется истиной и свободой. Проще всего называть это привкусом фальши, но надо помнить, что тут — не сознательная ложь, а некая «неправда о себе», искажённый взгляд на себя. Честертон ударил сразу и по Сцилле, и по Харибде, когда сказал: «Я никогда не относился всерьёз к себе, но всегда относился всерьёз к своим мнениям».

По-видимому, такое свойство дети тайной не считают, но мгновенно чувствуют и замыкаются. Внешне они могут и бежать, и подыгрывать; слушать — не будут. Детские книжки очень часто оставляют такой привкус — видимо значит это, что автор всерьёз относится к себе, а не к своим мнениям.

Этого нет у Льюиса в сказках о Нарнии, у многих нет, в частности — у Гэллико. Именно в таком смысле его книги — лёгкие и смешные. Но несчастная словесность для детей никогда от этого не застрахована. К любой лёгкости можно прибавить особую, снисходительную, слащавую интонацию.

И, наконец, ещё одно. Только что мы говорили о том, что цинизм может сочетаться с эгоцентрической высокопарностью. Конечно, может — это иллюзия, что Сцилла и Харибда противостоят друг другу. Они добру противостоят (простите за высокое слово). Друг на друга они похожи тем, что в центре — не Бог, не ближний, а несчастное, распухшее «Я». Скорее всего, и там, и там оно недобрало любви, а уподобиться зерну не хочет. Здесь я остановлюсь, это миллион раз написано. Ни Сцилла, ни Харибда всерьёз этого не примут, а те, кто избежал их, знают сами.

6. Современные сказки

Не захочешь, а начнешь с «Гарри Поттера». Сказала я недавно, между прочим, что собираюсь писать эту статью, а моя собеседница испугалась: «Надеюсь, не про Поттера? Он же такой оккультный». К счастью, есть спокойная и здравая книжка диакона Кураева, но ведь не даром, судя по Библии, Бог так ценит слышание и так редко его добивается. Если уж кто что-то знает, он знает, особенно у нас.

Итак, начну со злосчастного «Гарри». Наверное, на меня подействовало то, как я услышала о нем. Летом 2000 года, после одной конференции, я пробыла несколько дней в Сас-сексе, где ночевала в доме священника. Его жена, кончившая в свое время Кембридж, кормила меня классическим завтраком, а я старалась вести и не слишком дикий, и не слишком пустой разговор. Обсудив внуков и зверей (её, ирландку, тронуло, что когда-то у нас был хомяк Патрик О'Лири), мы перешли к книгам. Я действительно хотела понять, что там теперь читают. Зайдешь в магазин, non-fiction так бы всю и купила, а fiction — просто радость агитатора. Спасибо, если там педики или садисты; самое трудное — ощущение очень нехорошего сна. Итак, я спросила, а моя хозяйка мгновенно ответила: «Хэипотта». Раза через четыре я поняла, что к чему, тем более, что она побежала за книжкой, а потом подарила её мне. Ночью я читала и умилялась.

Уж как я боюсь оккультизма, но здесь его не почувствовала. Тисы и цветы, старая собачка по имени Брэкен («папоротник»), внучка на пони к ощущению страшного сна не располагают. Так и остался «Гарри Поттер» в контексте очень старой и очень доброй Англии.

Приехав домой, я узнала много ценного. Примерно об этом пишет отец Андрей, но всегда (и зря, конечно) кажется: если что-то добавишь, может, и услышат. Обвинения — два. Прежде всего, и Гарри, и автор страдают гордыней, презирают обычных людей. Могли бы, кстати, и презирать, такая традиция есть хотя бы со времён романтиков — и ничего, терпим. На Гофмана никто не обижается, хотя сомнительной мистики в нём больше, а о дихотомии «поэт» — «филистёр» нечего и говорить. Однако именно в книгах Джоан Роуленд едва ли не главная тема — защита «маглов» от таких, как Драко или его отец. Персонажи чётко делятся на смиренных и важных, важные презирают кого хочешь, особенно полукровок, то есть Гермиону и самого Гарри; ведь его мать из такой же семьи, что и тётя. Нравственный смысл — а он есть, в том-то и дело — определяет и раскладка «добрый» — «жестокий». Дурсли тоже «важные», хотя они попроще Драко. Это ничего не меняет; и он, и они жестоки. Описано всё по-диккеновски, скажем — как в «Никласе Никклби», а уж Диккенса в гордыне ещё никто не упрекал. Другое дело, что святой не дрался бы, как Никлас, и не раздувал бы гостью, как Гарри, но это же не жития. Жаль или не жаль, но в книгах, даже у набожных авторов, истинное непотивление почти никогда не описывается. Архидьякон у Чарльза Уильямса («Война в небесах»), тем и поражает, что в отличии от пламенно-верующего герцога «предоставляет место Богу». Что ж, этот евангельский совет непопулярен и в жизни. У Толкина весь сюжет стоит на жалости к Горлуму, а многие ли это заметили?

Другое обвинение — вышеупомянутый оккультизм. Здесь к словам Кураева прибавить нечего. Кстати, к его

статье приложены прекрасные эссе Честертон именно об этом, особенно «Радостный ангел». Кротчайший Честертон не стал бы хвалить высокомерие и жестокость, а чутья, отвращающего от дурной мистики, у него не меньше, чем у нас с Кураевым. Чутьё это постоянно бранят, но всё-таки — не те, кто боится Гарри Поттера, оно заведомо у них есть, хотя и в искажении. Может быть, нельзя писать о волшебстве, потому что оно непременно включает дурную мистику или просто так, нельзя и всё. Но тогда надо запретить любые сказки. До чего же всё таки религиозные менторы похожи на советских! Вспомним долгую борьбу Чуковского.

Отослав снова к книге отца Кураева, оставлю «Поттера» и перейду к другим книгам. Мне дали четыре, все — жанра, который называют теперь «фэнтези». Термин меня немного смущает. Если это просто «фантастика», могли бы так и сказать или переводить словом «сказки». Если дело в современных реалиях, то и Гофман такой же (конечно, когда по своим соображениям не переносит нас в прошлое). Если дело в непомерной популярности, это связано, я думаю, и с растущей массовостью литературы, и с тем, что люди сами замечают мистические или хотя бы магические измерения жизни. Принудительный материализм это давил, и то без особого успеха, а теперь только ленивый не заметит «вот такого». Наконец, вполне возможно, что привычный термин — просто один из примеров увлечения иностранными словами. Хитрые англичане пишут их курсивом и рады. Мы пытаемся втиснуть их в язык; выходит уродливо. Сейчас это так распространено, что спор бессмыслен. Наверное, язык сам

отсеет что надо. Интересно, задержится ли «комфортно (-ый)», когда давно есть «удобно», «уютно», «хорошо»?

Словом, пока я не поняла, почему эти книги — именно «фэнтези», а не сказки или «фантастические повести», буду называть их сказками, хотя бы для простоты.

Книг этих очень много. До бедного «Поттера» мне казалось, что большей частью они сложноваты, скучноваты, а то и муторны. Прочитав его, я кинулась писать о том, что люди, как кошки, ищут целебную травку. Обычно я приводила при этом стихи Кибирова:

*Только детские книжки читать.
Нет, буквально — не «Аду» с «Улиссом»,
а, к примеру, «Волшебную зиму
в Муми-доле»... А если б еще и писать!*

Действительно, сказки о муми-тролях — эталон какой-то. Даже здравый и добрый «Гарри Поттер» рядом с ним тускнеет. Вот они (простите за слова, затрепанные религиозным новоязом) показывают нам преображенный мир. Тут тебе и красота, и уют, и свобода, и особая округлость героев, и то, что они — маленькие. Но уже с книгами Линдгрена книги Роулинг сравнить можно. Наверное, Линдгрена лучше пишет, но не в том дело. Её никто не ругает за совершенно ясное деление людей на «правильных» (это плохо) и «особенных», или, быть может, «свободных». Роулинг хотя бы видела плоды очередной руссоистской утопии, и это заметно. Педократии у неё нет, дети не запуганы, не забиты, но им и в голову не приходит считать людьми только себя. Мало того, муд-

рый Дамблдор, простодушный Хагрид, родители Рона для них действительно «старшие».

Стала я смотреть другие книги. Начала с «Четырёх желаний» и сразу обрадовалась переводу Ильи Кормильцева. Сама сказка — в духе Мадлен Л'Энгль, которую у нас почему-то не печатают, хотя американцы привозили и хвалили её четырнадцать лет тому назад. Добрым быть хорошо, злым — плохо, но это не нудные прописи, а живой рассказ. Конечно, действуют законы сказки, которые известны лучше, чем законы того или этого мира. Есть апостол Пётр, есть духи, ощущение страшного сна не возникает. Словом, если сказки принимать, эта — весёлая, милосердная и здоровая. Оговорю и подчеркну: хвалить «здоровое» можно только тогда, когда нет официальных запретов, иначе получится слишком знакомая и мерзкая картина.

Дали мне и трилогию Филипа Пулмэна. Сперва я решила, что это отдельные книги и начала со второй. Читаю, более или менее радуюсь. Алгоритм вроде тот же: добрые и злые. Уюта и смеха меньше, но они есть. Кого не тронет, когда птичка то и дело превращается в зверька, зверёк — в рыбку, и даже они — что-то среднее между ручным животным (птичкой, рыбкой) и то ли частью души, то ли ангелом-хранителем! Правда называются они «деймоны», но говорил же так Сократ, а сама транскрипция — условна, всё-таки не «демон».

Тут и настигла меня, как выражались философы, имманентная кара. Появились просто ангелы — крупные, добрые, вполне библейские. Читаю, не ведая зла, и вдруг глазам своим не верю. Оказывается, именно их победил Михаил Архангел, а некий Властитель, стоящий выше

всех, равнодушен и высокомерен, словно Саурон. Господи, что такое? Припомнилось «Восстание ангелов» с его Демургом, но то взрослая книга, с другой целью (как бы к ней не относиться), в другом стиле. Припомнились и строки: «Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда и до Аляски». Старый агностик и молодой бунтарь писали это до «настоящего двадцатого века». Франс вряд ли принял бы то, чем такие речи обернулись; Маяковский заставил себя принять — и сломался. Пулмэн живёт после, теперь. И что же? Молодые герои, победив кого надо, оказываются в Ботаническом саду. Гадать незачем, нам уже давно сказали, что героиня по имени Лира — новая Ева. Судя по заключительной фразе, основать они собираются «небесную республику». Неужели и *такой* опыт ничему не научил?

Я бы полностью объединилась с теми, кого назвала «менторами», если бы не заметила печальную вещь. Ангелов, которых Честертон назвал «бывшими», преследуют очень плохие люди. Некоторые из них — записные злодеи, вроде безжалостной дамы или распутного аристократа. Однако среди них есть и церковники, напоминающие не о Франсе и не о Маяковском, а о романе «Трудно быть богом». Но этот роман — притча, а не исторический экскурс. Здесь же речь идёт именно о церкви, то есть о нас. Что ж, мы это заслужили.

Папа Иоанн-Павел II покался, многие другие — нет. Он покался за церковных людей, но не для всех конфессий он — предстоятель. Слепое пятно, загубившее средние века, не исчезло. Помню, сидит недавно обратившийся человек; читает «Историю инквизиции», и хоть бы что. Сказал бы: Это ложь!» — нет, читает, делится с

нами: «А такой-то епископ говорил об еретиках то-то и то-то». Мучают людей? И правильно, им душу спасали. Можно спросить, что делается с душой того, кто спокойно смотрит на чужие муки; но не нужно. Нас, видевших крайнюю жестокость, христианство не образумило. Да, коммунисты или там нацисты мучили зря, они вообще не верующие, что же до испанской инквизиции... и т.п.

Ещё одна притча. Неофит-отец пошёл с сыном в музей атеизма (кстати, зачем?). Увидев испанский сапог, хитрый мальчик спросил экскурсовода: «Это из Испании прислали?» Вот срезал! Муляж ему, гады, подсовывают. Мало того, через много лет отец гордо рассказывал это с кафедры на конференции. Там были католические и православные священники, и я рада сообщить, что они огорчились. Один потом удивлялся, почему ребёнок не испытал простого отвращения к жестокости. Говорят, детям оно не свойственно (с этим я не согласна, как кому), но отец-то мог поддержать или вызвать его.

Да, мы заслужили, и обижаться за себя не в праве. Однако откроем Библию, особенно Евангелие, посмотрим на икону, на картину или статую и, надеюсь, с нами случится то, о чём сказал Честертон: «Помню одна ирландская леди написала в своём журнале, что даже представить страшно, как равнодушный властелин бессмертных Фоме показывал следы гвоздей. [...] Если бы новый Фома, Томас Харди, это увидел, он сделал бы то, чего никогда не сделал бы не Прометей, ни Люцифер — пожалел бы Бога».

Пулмэна, очень точно показавшего предел дозволенного, я больше читать не стала. Надеюсь, понятно, что «дозволенное» не дополняется словом «цензурой» или

«властями». Не хочешь — не читай, вот и все. Если же читают другие, не знаю, что нужно и можно делать. Точнее, думаю, что можно писать, чем и занимаюсь. А говорить, если не спросят? Вопрос открыт, даже если книжку взяли ваши дети или внуки. Моя бабушка в таких случаях говорила; могла и книжку забрать. Моя крестная, истинный ангел, огорчилась бы до слез и ждала. Наверное, она бы винила себя и молилась, но это уже не для статей.

Словом, удовлетворившись тремя авторами, я перешла к размышлениям о книгах, о детях и о воздействии. Упомянутый выше Илья Кормильцев сказал в одном интервью, что книги не создают человека. Я потом его спросила, и он признался, что перегнул для полемики, но действительно считает, что роль книг преувеличена. Простите за «открытую дверь», но это зависит от человека. Для меня, особенно в детстве и в молодости, книги значили почти все. Так бывает у многих, но вообще-то он прав. Однако сейчас и здесь нас интересует другое: что происходит с детьми и подростками, читающими современные сказки?

Я стала думать, и обнаружила много странного, хотя бы для меня самой.

Конечно «дети» и «подростки» воспринимают книги по-разному, они вообще резко отличаются друг от друга. Об этом можно написать, да и написали тысячи статей, но есть у «невзрослых» общее, и очень простое — эгоизм, или если хотите, эгоцентризм. И дети, сохранившие красоту зверьков или ангелов, и подростки, восставшие против всякой фальши, причислив к ней аккуратность и ответственность, бывают добрыми (особенно к «своим»), могут

очень любить кого-то, но вообще-то людей не замечают, а себя — не знают. Помню, как пятилетний мальчик, слушая сказку Андерсена, тут же сравнивал «плохих» с кем угодно из знакомых, хотя сам был очень на них похож.

Как ни печально, участие к другим и умение взглянуть на себя приходится воспитывать. Другое дело, что это очень трудно, почти невозможно. Обычные способы — порка, крики, наказание — мягко говоря, не оправдались. Собственный пример тоже не работает. Притчи, рассказывающие, что мальчик развел грязь, бабушка стала убирать, а он бурно покаялся, не подтверждаются. Может быть «раньше» так и бывало, но только потому, что дети уже что-то знали. Нынешний ребенок, скорее всего, или не заметит или надует. Пишу я это, чтобы напомнить о силе детского эгоизма. Непуганый ребенок от книжки не расколется. Пуганый чувствительней (а иногда — злее), но очень уж велика цена. Словом, нравственный запал сказки очень часто пропадает. Поэтому так грустно, когда родители пичкают детей «Нарнией» или Гайдаром. Подростка, особенно — нынешнего, читать это не заставишь, и слава Богу. Смотрите, что берут из Толкина — одну воинственность.

Берут они ее не случайно. Чувство обособленной стаи тоже очень свойственно подростку (ребенку — намного реже). Оно порождает и глухоту, если не жестокость к «чужим», и какой-то пафос. Пафос Гайдара, видимо, с чем-то совпадал, и далеко не всегда был навязанным. Пафос православный, католический или протестантский у кого-то может быть, и прививается, но вскоре сменяется враньем, пока подросток хоть немного угождает стар-

шим. Наверное, главная причина в том, что христианству «пафос» противопоказан, он мгновенно превращает любую конфессию в то, что идеально описывают Евангелия (см. Мтф 2, 3 или Нагорную проповедь).

Фарисеи, как справедливо сказано все там же, живут совсем не так, как учат, а подростки особенно зорко видят фальшь, и тут их пафосу конец. Никакая «Нарния» его, славу Богу, не поддержит, а чисто сахаринные книги — тем более.

Неужели апофигизм лучше ложного пафоса? Не в том дело; наша неправда всегда порождает противоположное эхо. Может быть какое-то время оно целительно, вроде опасного лекарства. Как бы то ни было, большей частью дети теперь — непуганые и притворяются недолго, если вообще считают нужным угодить взрослым.

Отходы этого процесса совсем не утешительны. Далеко не только «у нас» многие так и не обретают ни совести, ни ответственности. Долго бытовал миф о том, что японцы разрешают всё детям (не подросткам). Знакомый японец удивлялся. И впрямь, в этой стране всё было налажено, как в механизме, детей втягивало в иерархию, порядок, ответственность. Оказывается, сейчас и они одумались, повторяя западные открытия, которые считались новыми и при Оскаре Уайльде, и при потерянном поколении, и при мятеже 60-х, и теперь (далее везде).

Никто не знает, сколько ни думают, почему один человек такой, а другой — совершенно ему противоположный. Наследственность — почти полная тайна; во всяком случае, не она определяет нравственный выбор. Среда? От нее есть средства защиты, одно из которых — бегство в книжный

мир. Снова предложу трюизм, трудный, как все трюизмы: больше всего помогает очень хорошая семья, целый мир, похожий на Муми-дол — с животными, взаимной уступчивостью, вниманием к другим. А особенно важно, чтобы не было ни мещанского всезнания, ни презрения к «мещанам». Словом, семья должна быть окном в рай. Однако (как и Церковь, другое окно), она легче всех «институтов» становится ужасной. Хуже всего — искажение лучшего.

Такие семьи существуют, но их очень мало. Точнее, существуют фрагменты таких семей, иногда — временные. Ребенок поживет несколько лет в Муми-доле — настоящем, не из мыла — и это окажется «крепче меди». Конечно, позже он наделает глупостей, а то и гадостей, он же человек, но самое важное останется. Речь идет не о спасении. Это не богословская статья, а будь она богословской, я бы писала о том, как спасает Бог в самую последнюю минуту, может быть — всех до единого, может быть — не всех. Оставим эту более чем опасную тему, вернемся к книгам.

Тогда появятся другие трюизмы: что-то книга дает, но далеко не все. Чем больше она подменяет жизнь, тем больше из нее возьмут, однако, редко берут ту нравственность, которая стоит на «золотом законе». Закон этот труден. Окружающие, чаще всего, его не соблюдают, и «на самом деле», не в прописях, ему не учат. Книга обычно учит, но одной ей не выдюжить. Если я не права, тем лучше.

Что же читают непуганые апофигисты? Честно говоря, не знаю, хотя часто их вижу. Может быть, кого-то привораживает особая красота стихов. Может быть, кому-то (что хуже) нужен наркотик той странной сло-

весности, которую я сравнила с дурным сном. Однако Льюис, чью «Нарнию» используют почти впустую, писал и для взрослых, мало того — именно для тех, кто дошел до фазы блудного сына. Этому особо посвящена странная повесть «Кружной путь», в которой настоящий, не «бывший» ангел поет такую песню:

*Кончился старый век,
Все вам разрешено,
Больше нет красоты,
Доблести и стыда.
Но Ты по-прежнему жив,
Ты поможешь опять,
Царь Мой и Бог Мой.*

Мало того — честное слово, есть и красота, и доблесть и стыд.

Книги мне дали такие:

Диакон Андрей Кураев, «Гарри Поттер» (попытка не испугаться). М.: «Андреевский дом», 2004.

Дуэн Колдзер, «Четыре желания». М.: «Иностранка», 2003.

Филипп Пулмэн, «Темные начала» (трилогия: 1. «Северные огни»; 2. «Чудесный нож»; 3. «Янтарный телескоп»). М.: «Росмэн», 2004.

В конце тысячелетия



1. Оскар Уайльд в конце тысячелетия

Тридцатого ноября 1900 года умер Оскар Уайльд. Англия отмечает эту годовщину, как только может — Диккенса, и того так не славили в 1972 году. Есть фильм со знаменитым актером и писателем Стивенем Фраем; есть памятник вроде надгробья в самом центре Лондона; наконец, его имя написано на витраже Вестминстерского аббатства, где пишут имена великих людей, похороненных в другом месте. Англичане не только восхищаются Уайльдом, они искупают вину перед ним, благородно принимая на себя то, что сделали их предки. Действительно, эти предки в 1895 году приговорили Уайльда к двум годам тюрьмы и к пяти годам изгойства. Если бы он не умер, таких лет было бы больше. Очень многие — и «общество», где он ещё недавно блистал, и толпа, знавшая его понаслышке — гнушались им, когда он, больной и непривычно бедный, скитался по чужим странам.

Приятно думать, что сейчас бы этого не было. Его бы и не посадили, и не подвергли остракизму. Однако значит ли это, что мы вообще не сажаем и не травим людей? К сожалению, нет. Наша терпимость покупается дорогой ценой; мы и судим, и травим тех, кого считаем плохими, а несчастная жизнь Уайльда нам скорее нравится.

Многие из тех, кто отмечает эту годовщину, считают и говорят, что писал он хорошо, а жил — гениально. Это я слышала сама, и вскоре поняла, что спорить бессмысленно. Конечно, Уайльд очень старался сделать произведение искусства из себя и из своей жизни. Однако трудно испортить жизнь так, как испортил он, даже на свободе. Конечно, его жизнь — произведение искусства, но похоже оно не на изысканную поэму, а на суровую притчу.

Родился Уайльд в Ирландии, в 1854 году. Когда читаешь об его детстве, невольно вспоминаешь Джона из аллегории К.С. Льюиса «Кружной путь». Тот тоже принадлежал к тем слабым, мягким, рыхлым людям, которые всё-таки приятней правильных и жёстких. Льюис противопоставляет ему стоического Виртуса. Пока они идут кружным путём, их то и дело заносит на север, где обитают отец Угл, беспощадный Лют и Спесильда, и на юг, к отцу Плюшу, Блудильде, в Темь, Топь и Черномагию. Нас так замучили насильственной правильностью, что Джон всё равно нам нравится больше; однако справедливый и строгий к себе Льюис осуждает Юг едва ли не сильнее, чем Север.

Уайльд был самым настоящим Джоном. Никто не знает точно, что вложено от рождения, но эгоцентричная и экзальтированная мать воспитывала это в нём и прямо, и косвенно. Она баловала его, внушала ему чувство исключительности, ориентировала на успех, без которого для неё просто не было жизни. Рядом с викторианскими семьями, где детей запросто пороли, это кажется милым. Собственно, и сейчас многие думают, поступая

так со своими детьми, что открыли секрет воспитания. Так и живем, мечась между Сциллой и Харибдой.

Поступив в Оксфорд, юный Уайльд стал добиваться успеха. Конечно, молодость — вообще трудная пора, но у него — особенно. Чего он только ни делал, чтобы привлечь внимание! Оксфордская легенда о том, что он водил на поводке краба, пока уставшие от его затей студенты этого краба не сварили, смешнее и трогательнее, чем быть. Их с крабом жалко. Как всегда бывает, доброта и щедрость сами собой не удерживались; он обижал людей — и ненамеренно, очень усложняя им жизнь, и намеренно, показывая своё превосходство.

Талант, обаяние и ум вывели его, он очень хорошо кончил курс и сразу нацелился на литературную славу. Книги и пьесы, которые мы любим, написаны гораздо позже. Молодой Уайльд радуется парадоксами, далеко не всегда — мудрыми, но его ранние стихи и пьесы читать скорей неприятно. Пьеса о нигилистах — совершеннейший бред, «Саломея» удушлива и напыщенна, стихи — уж очень красивы. Сейчас поэтизируют *fine de siècle*, но умиляет нас именно то, что Рескин, Пейтер, Уистлер, Моррис, Уайльд считали невыносимо уродливым — фонари и дома тогдашнего Лондона, кебы, почтовые ящики, палисадники, первая подземка. Нравилась им низколобые толстые дамы, вороха лилий, все эти ароматы и орнаменты, связанные для нас с той приторной и тяжелой безвкусицей, в которую они вписались позже, в начале XX века. Уайльд воспоминаний и фотографий ближе к этому, чем к полупрозрачному стилю, знакомому нам хотя бы по картинкам к «Алисе». Со всеми своими ландышами, лилиями

и бледно-зелёными гвоздиками он оставляет ощущение тяжести, какой-то восточной плотскости. Стивен Фрай, тоже не худенький, похожий на тюленя, всё-таки облагодородил своего героя — заметней всего собачий, жалобный взгляд и виноватая улыбка, которых не видно (или просто нет) на изображениях Уайльда. Собственно говоря, они даже не доносят его прославленного обаяния.

Почти до тридцати трёх лет Уайльд ходил по гостиным, очаровывая одних, намеренно шокируя других. Можно считать, что он обличал викторианское лицемерие, только уж очень большой ценой. Судить по пьесам не стоит, они несопоставимо чище и легче его жизни, а сейчас мы говорим про эту жизнь. В пьесах вряд ли что-нибудь покажется теперь циничным, а в жизни это бывало. Кроме того, он безоглядно подпитывал тщеславие, которого и так хватает у молодых и даровитых людей. Годам к тридцати, к переломному времени, оно становится разрушительным.

Казалось бы, Уайльд почувствовал опасность приятных пороков Юга, к которым относится и лень. Не так остро, как Пушкин, он всё же испугался их, решил жениться и женился, по-видимому — без особой влюблённости. Один за другим родились сыновья, изысканно названные Сирилом и Вивианом, но в остальном жизнь осталась примерно такой же. Стремление к славе уже наминало одержимость, и тут, на тридцать третьем году, случилась беда.

Писать, какая именно, не стоит. Во-первых, это всем известно; во-вторых, мало кто теперь считает это бедой. Как бы то ни было, оставшиеся ему тринадцать лет по-

хожи на совсем уж суровую притчу. Отец Браун в «Летучих звёздах» говорит Фламбо, что нельзя удержаться на одном уровне зла. Как и Фламбо, Уайльд был добрым, и если для нас плоха только злость, дальше говорить не о чем. Но, читая об этих годах, поневоле задумаешься. Началось с Роберта Росса, который заботился об Уайльде, жалел его, щадил, а позже, отказавшись от склонностей, которые принесли столько горя, стал священником и завещал, чтобы его похоронили рядом с несчастным другом. Даже если нас огорчает их союз, всё-таки в нём много трогательного. А через несколько лет, ближе к суду и краху, вряд ли кого-нибудь умилят бордели педерастов и мучительная любовь к совершенно бездушному мальчику. У лорда Дугласа, которого даже трудно пожалеть, эгоизм, лень и тщеславие не уравновешивались добротой.

Втянув несчастного Уайльда в свою борьбу с отцом, он вынудил его затеять судебное дело, которое обернулось не против отца, а против них. Сам он увернулся, а Уайльд оказался в тюрьме. После лагерей и тюрем XX века она кажется вполне сносной, но ведь не для джентльмена, тем более — такого изнеженного. Там нестерпимо страдающий Уайльд написал «De Profundis», которое и трогает, и печально удивляет. Как-то он сказал молодому Андре Жиду, что в литературе не должно быть «я», но и раньше этому не следовало, а тут — и подавно. Он замечательно пишет о жалости, но хочет, вполне резонно, чтобы пожалели его. Слава Богу, Уайльд просто жалеет себя, не приговаривая, что уж он-то человек выносливый. Однако он себе не ужасается; как стоял в центре мира, так и стоит, любясь своей избранностью и сво-

бодой. Именно здесь появляется тот Христос, который прижился в XX веке — похожий на Иисуса из «Суперстар», разве что не такой истеричный. Представить себя на месте Уайльда очень легко, но это не значит, что он стал блудным сыном.

Выйдя из тюрьмы, он тщетно попытался бодриться. Жалели его немногие, презирали — почти все, а восхищения он вообще лишился. Жить в Англии он не мог и стал мотаться по европейским отелям, совсем больной, а при своих привычках — и бедный. Дуглас то был с ним, то не был, но мучил его достаточно. Жалеть этот странный мальчик не умел, больные были ему противны. Вероятно, такой беспримесный эгоизм бывает редко; то есть бывает он часто, но не держится так прочно. Дуглас и тогда, и позже считал себя правым и несправедливо обиженным. Интересно, если бы о них писали наши классики, что бы получилось? Толстой легко принимал, что человек может быть нелюдь. У Достоевского это редко; пустые у него — очень уж мелкие, обычно он может пробурить человека на ту глубину, где он жив. Что получилось бы у него с лордом Дугласом?

Совсем покинутый, гниющий заживо Уайльд снова заговорил о переходе в католичество. Обычно ирландцы и есть католики, но его семья была протестантской. Католичество привлекало его давно, он подходил к нему — и отступал. Вообще-то оно было тогда модным. Ровно в середине века Пий IX восстановил в Англии католическую иерархию, тогда же стали католиками такие исключительные люди, как Ньюмен и Мэннинг (позже — кардиналы), и образованное общество потянулось к Римской церкви.

Поэты Ковентри Патмор или Джеральд Мэнли Хопкинс, историк лорд Эктон, супруги Мейнел относились к своему переходу, как к обращению, вся жизнь их менялась. Искали они истины и глубины, ощущая (верно или неверно, к делу не относится), что англиканство всё больше мелеет, а может, было неглубоким с самого начала. Гораздо больше народу привлекали вещи не очень христианские — тайна, романтика, красота, и совсем не христианские — сила, власть, нетерпимость. Молодой Уайльд, по-видимому, искал красоты и тайны, но в годы несчастий ощутил в католичестве милость. Тогда он и сказал, что католичество — для святых и грешников, людям приличным хватит англиканства.

К нему привели священника, когда он уже не мог говорить. Тот крестил его и причастил, после чего он и умер. Вот уж поистине, притча, сама жизнь, где всё связано и значимо.

Англичане одумались с неправдоподобной быстротой. Они, наконец, его пожалели, хотя выразилось это в том, что пьесами и вообще тем, что он написал, стали восхищаться. «Наклонности» мало кто решился бы признать нейтральными, тем более — похвальными. Детерминисты уже были, но считанные, а порок ещё платил дань добродетели, скрываясь, а то и действительно стыдясь. Тем не менее, Уайльдом восхитились, и его комедии, поражающие лёгкостью, блеском и чистотой, скоро стали классическими.

Притча тем временем продолжалась. Через несколько месяцев после смерти Уайльда англичане заметили и сразу полюбили молодого журналиста, который тоже мыслил парадоксами, развенчивал мнимости и видел

красоту; однако был таким, что теперь обсуждают возможность его беатификации. Можно представить себе, что книги и статьи Честертона пишет Уайльд, заново родившийся в крещении. Как бы то ни было, Честертон сказал о нём точнее всех: «Ужас перед его жизнью снимается ужасом перед его расплатой».

Почему мы не можем думать хотя бы на двух уровнях? Говоря об Уайльде, одни не ужасаются жизни, другие — расплате. Одни рассуждают о гендерном детерминизме, другие безглаголиво дают понять, что уж они-то никогда бы такими не стали. Словом, за границы греха выносят или содомию, или фарисейство, несколько противореча Писанию.

Представим себе Честертона или его отца Брауна. Мог тот или другой вообразить себя на месте Уайльда? Ну, конечно! Стали бы они бегать от Уайльда, тем более — сажать его в тюрьму? Стыдно и спрашивать. Потому ли они бы его пощадили, что он — гений, а гениям закон не писан? Нет. Просили бы они, чтобы он жил иначе? Только в том случае, если бы он сам обратился к ним. Хорошо, они — терпимы. Но считают ли они его жизнь ужасной? Конечно; они того не скрывали.

Что бы они делали? Наверное, горевали, как горюет отец Браун в «Оке Аполлона» (герой которого несравненно хуже бедного Уайльда). А главное, они бы молились, хотя теперь стыдно об этом писать, так мы распоясались на своём новоязе. Кроме того, они бы предупреждали других, проповедовали, не потому, что они — выше людей, а потому, что они — люди, а значит, «носят всех бевсов в сердце своём» («Молот Господень»).

Одним Евангелие кажется слишком суровым, другим — непозволительно мягким. Мало кто замечает, что суровы — предупреждения, милостиво до слёз — отношение к тем, кто не послушался. Конечно, мы много и легко говорим о ненависти к греху и любви к грешнику, тем более что новояз позволяет назвать любовью жестокость. Смешно думать, что притча об Уайльде разбудит нас, если не разбудило Евангелие. И всё-таки, понемногу, по одному, люди встряхиваются, только на это и надежда.

2. Показания очевидца

*Но Ты по-прежнему жив.
Ты поможешь опять,
Царь мой и Бог мой.*

К.С. Льюис

Не очень давно, в 1977 году, «Властелина колец» признали лучшей книгой XX века. Этому уже никто не удивился. Одни на ней помешались, других она раздражала, но всякий знал об её непомерной славе. Успел узнать и автор, умерший в 1973 году. К тому времени эта слава насчитывала лет восемь и пришла из Америки, от подростков и студентов. Толкин ей удивлялся, понимая, что его скрупулёзная, серьёзная, скромная сага не должна вызывать таких восторгов. Может быть, он и огорчился, как неудачливый сеятель. Если бы он «увидел наши игры», он бы, наверное, заболел.

Написано об этой книге столько, что не перескажешь, да и просто не вместишь в информационную заметку. Поэтому коснёмся только трёх тем, тесно связанных друг с другом: каким был Толкин, почему он это писал и что из этого вышло, особенно здесь, в России. Начну я с последней темы, а остальные появятся потом. Делаю я так отчасти потому, что этих сведений нет ни у Карпентера, ни у кого бы то ни было другого (к их счастью, они жили не здесь), отчасти же — потому, что именно тут, у нас, особенно резко проявились многие свойства этой книги, от тех, которые Толкин имел в виду, до тех, на мой взгляд — мнимых, которые бы его огорчили.

Когда Владимир Сергеевич Муравьёв обнаружил неизвестную ему книгу в Иностранной библиотеке, Толкин был еще жив. Нам В.С. её дал в самом конце то ли 1970-го, то ли 1971-го. Толкин, повторю, умер в 1973-м, но был отделен от нас той стеной, которую называли занавесом. Если бы не это печальное обстоятельство, он бы мог узнать, что несколько филологов приняли её не как скрупулезную игру старого вундеркинда, а как неправдоподобно точное описание их жизни. Наверное, он был бы рад.

Конечно, прочитали её не только филологи. Сразу, тогда же, оказалось, что кому-то её привезли, а кто-то даже сам купил. Все это были highbrow (тип «выездного интеллектуала» уже существовал), и кое-кто из них, по слухам, стал Толкина переводить, но переводы куда-то делись. Несомненно, никто не отнесся к книге спокойно, но для тех, о ком я только слышала, она могла быть и ученой игрой. Вспомним, как противостоял культ игры свинцовой серьёзности советских наук (гуманитарных,

конечно). Однако я хорошо знала только тех, кто отнесся к ней гораздо серьёзней, в другом смысле слова.

Сергей Яковлевич Серов, Сергей Сергеевич Аверинцев, братья Муравьёвы (Леонид Сергеевич — по рассказам, он английского не знал) увидели в саге Толкина свою тогдашнюю жизнь. Толкин не любил и не писал аллегорий, и мы это ощутили. Для нас его книга была не аллегорией; если как-то это называть, подошло бы слово «миф», очищенное и объясненное именно им и теми его коллегами, которым хотелось передать не поверхность, а суть, смысл, промыслительный узор жизни. Представьте себе без нынешних aberrаций, какими были 70-ые годы. Для тех, кто узнал себя в саге о кольцах — практически невыносимыми. Так мы и читали её, как книгу надежды в безнадежности. Примерно так же мы читали и Честертона, Уильямса, Льюиса, но почти для всех главным был Толкин.

Споры начались тоже сразу, и по ним можно было предсказать, что случится с этой странной книгой, когда она «овладеет массами». Одни увидели в ней апологию смешных и слабых, победу бессильных, полный запрет на мирские средства, воплощённые в кольце. Другие, словно конь в книге Иова, стали издавать воинственные звуки. Поскольку мы всё время играли (надо ли объяснять, в каком смысле?) и совсем не ссорились, это претворилось в спор между сторонниками Сэма и сторонниками Арагорна. Использовали и пару Боромир—Фаромир, но тем, кто заметил апологию слабости и милости, всё-таки больше всех подходил самый ничтожный из хоббитов. Его сторонников поддерживала последняя фраза: огромное, сложное повествование приводит только к тому,

чтобы он положил дочку жене на колени. Противников это не убеждало.

Больше пятнадцати лет мы жили как Сэм, бесконечно бредущий через горы. Тем, кто склонялся к воинственности, хотелось уничтожить Голлума, подразумевая, конечно, что мы-то в него никогда бы не превратились. Спорить об этом не стоило, хотя споры были, и представить их нетрудно — многие и сейчас не понимают, зачем щадить такую мерзкую тварь.

Когда горы кончились и, наверное, уже упало в кратер кольцо, мы то там, то сям читали лекции о Толкине. Было ещё очень голодно и грязно, восьмидесятые годы сменялись девяностыми. Лекции получались странные; особенно возмущала слушающих попытка связать злосчастную сагу с христианством. Все уже знали, что Толкин создал параллельный мир, где Бога нет, тем более — такого странного, как в Библии. То ли по малодушию, то ли по нежданному здравомыслию я не говорила о том, как целомудренно это мнимое умолчание. Дальнейшая судьба религиозных книг показала, что людям религиозным почему-то ничуть не противно категоричное назидание. Чего-чего, а этого у Толкина нет.

Доказывать, что он, вошедший в число лучших апологетов века (им посвящён американский ежегодник «Seven») — действительно писатель христианский, совершенно бесполезно. Убеждения такого рода живут не в уме, а в сердце. Помню, один литовский священник говорил, что понять Евангелие — накладно. Если не заглядывать далеко, логичней и выгодней бить плохих и восхищаться хорошими, причисляя к ним себя. Что ж удивляться, когда это видят в саге тихого и набожного католика? Учёные сразу определи-

ли, что её герои — переодетые дети, и многие считают, что это — чтение для детей. Толкин, конечно, взрослым не был, если понимать под взрослостью не ответственность и не мудрость, а цинизм. Даже из его жизни намного легче сделать что-то вроде Диккенса, чем одну из бесчисленных книг, открывающих нам, как мы живём «на самом деле». Он рано потерял отца, провел детство в бедности, да еще потому, что мать держалась за католичество; потом потерял и мать; потом влюбился совсем уж несообразно, с запретом, разлукой, райской встречей; и, наконец, после всего этого стал педантичным тихим учёным, для которого брак — это брак, а не что-то иное. Прочитать его биографию можно и по-русски — уже есть переводы нескольких книг, и тем более по-английски, о нем очень много написано¹. Сейчас скажем одно: Толкин искренне верил, то есть доверял Богу; очень честно видел себя, а значит — был милостив при всем своем острейшем чувстве зла; и, наконец, избегал какой бы то ни было эзотерики. Словом, он — христианин, принявший всерьёз Евангелие. А всякий, принявший Евангелие всерьёз, непременно проповедует, даже если не пишет и молчит. Толкин — и не молчал, и писал длинные книги.

Судьба этих книг похожа на судьбу христианства. Обрадовавшись невзрослому миру, который нужен очень многим, в них стали вкладывать или из них стали вычитывать элементы совсем другого мира — беспо-

¹ Уже собирая книгу, в сентябре 2004, я получила от Стретфорда Колдекотта, возглавляющего европейский отдел Честертонского института, его новую книгу «Тайное пламя». По-моему, это — лучшее, что написано о Дж. Р. Толкине. Надеюсь, что её издадут.

щадное деление на плохих и хороших, упоение собой и «своими», взвинченную мистику. Естественно, если так читать, ломается какой-то винтик и «хорошими» с легкостью становятся бывшие «плохие». Спасибо, если это просто игра, вненравственная забава; но можем ли мы, люди, на этом удержаться? Скорее — нет.

Трудно передать, как жаль неприкаемых и незрелых людей, использующих так нелепо мудрую и неправдоподобно милостивую книгу. Но вспомним историю. Сквозь воинственность и самодовольство всегда пробивается нелогичная жалость к другим и радостное знание своей слабости. А где это есть, есть и надежда, и чудо и помощь, как в евангельской саге Толкина.

3. О Малькольме Маггридже (1903—1990)

Совсем недавно, слава Богу, кончился XX век. Мы хорошо знаем, что с течением лет добро и зло сгущаются, но не только аберрация близости подсказывает нам, что зло как-то уж слишком сгустилось. Всё-таки, в этот век уложились бесовские режимы в трёх больших странах (третья — Китай), не говоря уж о странах небольших и о режимах достаточно сомнительных. Что до естественных плодов свободы, уже на уровне отдельных людей, этому нет конца; и многим кажется, что утопия порядка всё-таки лучше не краткостью своей (как видим, они разрушались сравнительно быстро), а по самой сути. Такая ностальгия, мягко говоря, огорчает, особенно тех, кто успел в этих утопиях пожить.

Поэтому нужно вспомнить тех, кто действительно уберется и от Сциллы, многорукого чудища, пожиравшего людей, и от Харибды, водоворота, людей затягивающего. Их, как и следовало ожидать, очень мало. Ведь проще всего — лечить одним злом другое, а не сочетать виды добра, которые кажутся несочетаемыми.

Таким был Честертон. Если его причислят к лику блаженных, о чём давно идёт речь, то ему подходит роль покровителя этих людей. Казалось бы, он рождён быть патроном журналистов — но первое важнее. А кроме того, патроном журналистом может быть и Малькольм Маггридж. Он тоже встал против обеих утопий, но, в отличие от Честертонна, довольно поздно, после долгих и разных заблуждений.

Кроме того, Маггридж — истинный человек минувшего столетия. Его можно сравнить с Мертоном¹, оба — блудные сыновья в чистейшем виде. Конечно, плох тот христианин, который не похож на этого героя едва ли не самой поразительной из евангельских притч. Но у Мертона и Маггриджа очень уж это явно, они — обычные мирские гуляки, почти хулиганы, даже мрачные. Правда, здесь Мертон — впереди, он был до обращения просто образцом распущенного бездельника. Маггриджу всегда мешал дойти до этого унаследованный или усвоенный в детстве идеализм.

Семья у него была, как сказали бы англичане, «из низшего среднего класса», мать — почти неграмотная, родители её — из северных индустриальных мест; но Генри

¹ Пока не изданы его собственные книги, узнать о Томасе Мертоне (1915—1968) можно из биографии, написанной его учеником Дж. Форестом («Живущий в премудрости». М., 2000).

Томас Маггридж, отец, выбился в интеллигенты. Когда читаешь о нём, поневоле переносишься в Россию; всё-таки в Англии мещанские мальчишки («разночинцы») реже становились образованными народолюбцами. Малькольм и его братья очень любили отца. Видимо, многие его любили, он был Дон Кихотом социализма. Весьма высоколобые фабианцы, снизошедшие разве что до Уэллса, который всё-таки был знаменитым писателем, считали Генри Маггриджа «своим» и дружили с ним. Позже, в 20-х, Малькольм женился на племяннице «самой» Беатрис Уэбб. В иерархической Англии его без труда впустили в достаточно высокий класс. Правда, отец к тому времени побывал членом парламента от лейбористов, но жил всё в том же тихом пригороде и выглядел более чем скромно.

Малькольм учился в Кембридже тогда же, когда Набоков (чуть моложе), но тут уж о равенстве не может быть и речи. Всё-таки русский high-brow переплюнет всех английских. Скорее всего, они знакомы не были. В любом случае, Малькольм плохо одевался; а в главных университетах, по свидетельству Льюиса, тоже почти ровесника, студенты чётко делились на задрыг и франтов, взаимно презиравших друг друга. Может быть, Малькольм никого не презирал, он был скромным и добрым.

Преданность социализму под вопрос не ставилась, он точно знал, где истина; но она не мешала приступам религиозных поисков, даже скорее помогала. Одно время он стал чем-то вроде пламенного неопита, но остыл. Кончив университет, он должен был работать (в Англии это далеко не всегда так, особенно — тогда), и довольно долго метался между преподаванием английской словес-

ности в колониальных университетах и журналистикой, которая победила далеко не сразу. В 1927 году он довольно неожиданно женился, и тут ему очень повезло. Китти, которой он полжизни непрерывно изменял, оказалась прекрасным человеком. У них, как у старших Маггриджей, было четверо детей; и у тех, и у других один умер.

Преподавание, среди прочего, занесло Малькольма в Индию (1934—35), где он совсем уж собрался бросить жену ради невероятно красивой художницы, у которой отец был индийцем высшей касты, мать — венгеркой. Там же, верный своим религиозным метаниям, он увлёкся индуизмом, но до самодельного оккультизма всё-таки не дошёл. (Скажем, что прекрасная Амрита умерла через шесть лет, не дожив до тридцати).

Журналистика, немного раньше, занесла его в более опасное место — сюда, в Москву (1932). Приехал он вместе с Китти и через несколько лет описал их здешнюю жизнь в довольно слабом романе. Но как всё узнаваемо! Хмурые лица, грязь в гостинице («Астория» на Тверской, где селили не очень важных иностранцев), анекдоты, питьё — он пил и так, но с озверевшими коллегами стал пить гораздо больше. Вскоре их с женой переселили в какую-то дачу на Клязьме, и там он испытал знакомые нам муки — Китти тяжело заболела (видимо, воспалением лёгких, причём антибиотиков тогда не было), а вызвать врача они не могли — то ли не там «прикреплены», то ли ещё что-нибудь, в общем, весь советский букет. Добыли как-то сестру с банками, поудивлялись этому средству — оказывается, в Англии его не знают, но всё-таки Китти стало лучше, и Малькольм убедил её уехать. Так, в знаменательном воз-

расте обращений, он начисто утратил веру в социализм и вообще в какие бы то ни было утопии. С той поры он делал режимы на выносимые и невыносимые.

Вернувшись, он писал, для газет — успешно, как романист — не очень, много пил, любил семью, но крутил романы. Таким хемингуэевским персонажем был он и на войне, где дослужился до майора. Конец войны ознаменовала очень промыслительная встреча.

Его приставили к опозоренному Вудхаузу. Этот идиллический юморист жил в 1940 г. на французском курорте, у самого пролива, когда туда неожиданно нагрянули немцы. Они с женой, как почти все, не верили, что это случится, а кроме того он вообще был исключительно отрешённым, по-детски далёким от мирских дел. Словом, его забрали в лагерь для подданных враждебного государства, а Этель, жена, пристроилась под Лиллем у знакомых. В 1941 г., когда ему исполнялось 60 лет, его по Женевской конвенции выпустили и тут же предложили выступить в Берлине по радио для ещё нейтральной Америки. Он выступил, беззлобно смеясь над собой, над теплушкой и лагерем, и думая при этом, что подбодряет читателей, чьи письма добрались до Германии. В Англии поднялся страшный крик. Большинство обличало его, не зная ни обстоятельств, ни абсолютно невинных текстов, несколько человек — призывало к милости¹ (Ивлин Во, Дороти Сэйерс, Оруэлл), стараясь напомнить, какой он бесхитростный и далёкий

¹ Примерную запись бесед можно прочитать в одном из томов П.Г. Вудхауза, издаваемых «Остожьем» и «Эксмо»; статью о них см. дальше, в этой книге.

от политики человек. Вспоминали и о том, что именно он создал однозначную карикатуру на сэра Освальда Мосли, главу английских фашистов (лорд Сидкап в романах про Дживса и Вустера), но ничего не помогало. С осени 1943 Вудхаузы жили в Париже, о травле уже знали, он очень страдал и ругал себя за глупость. Сразу после освобождения Франции, то есть ровно через год, к ним явился майор Маггридж, которому было поручено сторожить их, пока в Англии разберутся. Он сообщил, что только что умерла любимая падчерица Вудхауза, оставив двух детей.

Намного позже, уже пройдя возвращение блудного сына, Маггридж написал статью «Вудхауз в беде», с удивлением, даже благоговением рассказывая о поразившей его кротости старого писателя. Дружили они до смерти П.Г.В. (1975), но почти не виделись — формально оправданный, Вудхауз не смог вернуться в Англию, слишком это было тяжело, и долгий остаток жизни прожил в Америке, на Лонг-Айленде.

Маггридж послевоенных лет был уже очень известным журналистом. Ему доверили прославленный «Панч», и он оживил этот лучший из юмористических журналов, просуществовавший к тому времени немногим больше ста лет. В 50-х годах он опять побывал в России и на Украине с премьер-министром Макмилланом. На приёме он поговорил с Хрущёвым, который сообщил ему через переводчика, что жизнь хороша. Мнение Маггриджа о жизни и о нашей несчастной стране не изменилось.

Журналистом он был бурным, вечно попадал в скандалы, даже сумел поссориться с очень старым Черчиллем и очень молодой королевой. В последнем случае чуть не

дошло до травли, но как-то пронесло. Известность его росла, и естественно, что его одним из первых пригласили на телевидение.

Шли шестидесятые годы. Утопия свободы набирала силу уже в другом, более прямом виде вседозволенности. Маггридж писал-писал, смотрел-смотрел и вдруг «возмутился сердцем», как когда-то в Москве.

Однако теперь он усомнился не в одной из утопий, а вообще в «мудрости века сего», какой бы вид она ни принимала, ближе к Сцилле или к Харибде. Последние три удара нанесли съёмки в шотландском монастыре (осень 1967), поездка в Святую Землю и встреча с матерью Терезой. Как бывает всегда, события эти полны простых, бытовых чудес. Расскажем об одном: когда стали снимать для телевидения его беседу с Терезой, оказалось, что в калькуттском обителище сестёр темно, а приличный свет установить негде. Оператор ни на что не надеялся; но на телеэкране всё видно и всё сияет каким-то особым, неярким светом. Маггридж прямо назвал это чудом, а его неверующий продюсер говорил, что работа с ним вообще полна «немыслимых явлений».

После этого, почти сразу, вышла его книга «Иисус, открытый заново» («Jesus Rediscovered», 1969). Это — заметки о Святой Земле, очерки о Паскале, Симоне Вайль, Толстом и длинное интервью, где Малькольм Маггридж называет себя «Честертоном для бедных». Конечно, речь идёт не о неимущих, а о духовно обеднённых, «людях массы», которых было всё-таки меньше в честертоновское время. Рывок 60-х, такой понятный после жесточайших утопий порядка, принёс много нового зла. Можно

сказать, что именно Маггридж стал его первым обличителем. Напомним снова: в 70-е годы и позже, сейчас, это зло очень легко обличают апологеты «крепкой руки». Ценность и редкость свидетельства, о котором мы пишем, — в том, что у Маггриджа была прививка против такой опасности.

С той поры и до смерти (к счастью, он застал крах советской системы и очень радовался) Маггридж жил по евангельским словам о рабе и господине. Как всякого человека, проповедующего христианство всерьёз, его и принимали, и гнали. Первый скандал разразился сразу, когда ещё не вышел «Jesus». Английских писателей и общественных деятелей часто выбирают ректорами Эдинбургского университета (в таких выборах участвовал и Честертон). В 1966 г., вступив в эту должность, Маггридж был поражён тем, что творится у студентов. Они не только «применяли на практике» наркотики и сексуальную революцию, но защищали их в теории, отстаивали свои права. Новый ректор резко выступил против этого, они рассердились, он сказал, что иначе уйдёт — и ушёл.

Так и жил он двадцать с лишним лет. Ему постоянно напоминали, какой он был сам до обращения, подозревали в лицемерии, приписывали синдром «лисицы и винограда». Его это очень мало трогало. Жили они с Китти на самом юге Англии, в Сассексе, и много гуляли в лесу со старым другом, священником Алеком Видлером. Маггридж писал и почти до конца делал телепередачи — например, с владыкой Антонием Блюмом. Среди прочего, он издал замечательную книгу об обманах и опасностях телевидения. При всех насмешках и подозрениях, он

помнил о рабе и господине; и сказал, между прочим, что если бы у Христа была судьба Билли Грэма, никто бы о Нём не помнил.

Пересказывать беседы и статьи Маггриджа-проповедника — просто глупо; всё равно у него лучше. Можно и нужно издать его, тем более, что, в его манере, произошло ещё одно необычное или хотя бы маловероятное явление — его архив стали собирать в том самом американском центре, который хранит материалы о Честертоне, Толкине, Уильямсе, Льюисе, Дороти Сэйерс, и издаёт соответствующий ежегодник. Одна женщина, связанная с этим колледжем и живущая там, оказалась его пламенной поклонницей и подарила мне две книжки (одна из которых, конечно, бесследно исчезла). Словом, помощь будет, надо бы начать.

А предварительный рассказ о современном и таком понятном нам проповеднике уместно закончить стихами Дороти Сэйерс, которую он очень высоко ставил, тем более, что речь в них идёт о том, что он нашёл и полюбил — о покое, смирении и Святой Земле.

*О, как отраден покой субботний,
Отдых усталым, награда кротким,
Тихая радость Иерусалима,
Где мы желаем меньше, чем можем,
И получаем больше, чем просим.*

*О, великий город покоя,
Царство небесного совершенства...*

4. Благодарность блудного сына

Недавно завершился очень тяжелый век. Мы, люди, творили много зла и, соответственно, много страдали, кто — от своих грехов, а кто — главным образом, от чужих, причем число жертв приобрело невиданные масштабы. Может быть, это столетие больше других связано с тем, что говорит пророк Исайя о слугителе Ягве. Библиист Анна Великанова высказала предположение, что, исходя из этого опыта, придется расширить понятие мученичества, включив в число «свидетелей» невинные жертвы.

Те, кто долго жил в XX веке и доверялся Богу, поистине ощущали, как Он страдает из-за того, что происходит с Его детьми, и как нуждается в соратниках. Иногда кажется, что святых было гораздо больше, чем в другие времена, но этого мы знать не можем. Однако можем заметить, что у невольных соратников и у соратников добровольных отчетливо подчеркнуто евангельское свойство — умаление, тоже вольное и невольное. Именно оно объединяет таких непохожих людей, как Папа Иоанн XXIII и Томас Мертон. Непохожи они во всём, что важно для мира: глава Католической Церкви — и простой монах; ангельский старец — и странный, безвременно умерший писатель; чистейший простец из крестьянской семьи — и выходец из богемы, прошедший малопривлекательный путь не то хулигана, не то представителя «золотой молодежи». Однако «добрый Папа Ян» сразу узнал своего, прочитав книгу молодого трапписта, и так умилился, что послал ему столу, в которой был интронизирован. Общее у них настолько просто,

что о нем и говорить бы не стоило, если бы оно не было таким редким, особенно — в прошедшем веке.

Честертон говорит, что святой — противоядие против того греха, который преобладал в его дни. XX век, еще больше прежних, помешался на гордыне, от жалкого самоутверждения до «демонических твердынь». Оба великих соратника Бога, жившие в этом столетии, были исключительно смиренны, и в этой книге¹ смирение Мертона выражено яснее всего.

Казалось бы, сколько раз это сказано и просто показано в притче притч — о блудном сыне, но первородный грех залепляет нам уши. Проповедники знают, как непрестанно приходится спорить «на две стороны» — и с апологетами самоутверждения, которых так поддерживают психологи, и с апологетами отчаяния. Собственно говоря, это скорее две фазы, чем разные стороны. Цепочка примерно идет так: «Ну, я человек хороший» — «Ой, вроде бы нет!» — «Ну, тогда на свете сплошной ужас».

И Иоанн XXIII, и Мертон смиренно признавали свое ничтожество и благодарили Бога за незаслуженную безмерную любовь. Перед нами — книга, свидетельствующая об этом. Как обычно, кто-то найдет в ней «интересные мысли, кто-то — набор приевшихся, да и сомнительных трюизмов. Но, к нашему счастью, всегда есть и третьи, для которых это — новость, Благая весть, дающая мир и свободу.

¹ «Семена созерцания».

5. О Питере Крифте

Летом 1990 года американцы, приехавшие сюда, чтобы издавать христианскую литературу, привезли несколько книг Питера Крифта и очень его хвалили. Тогда ему было, я думаю, чуть за сорок; жил он в Бостоне, живет там и сейчас. Переводы его книг никак не издавались, точнее — издавались, но только в журналах («Страницы» и «Мир Библии»). Тем временем появлялись новые книги, и я постепенно прочитала все или почти все.

Почему-то многое о нем осталось неизвестным, скажем — год рождения, а вот что у него четверо детей, три девочки и мальчик, можно вывести из посвящения к одной книге. Отсутствие мифа не мешает; в отличие от Честертона или Дороти Сэйерс, Питер Крифт — прежде всего ученый и проповедует он только тем, что пишет. Однако некоторые «биографические сведения» довольно важны, и о них мы поговорим.

Крифт — католик, и не по рождению. Примерно полтора века англичане (об американцах скажем позже) иногда переходят в католичество, и случается это в той среде, которая хотя бы относительно соответствует нашей интеллигенции. Она бы и совсем ей соответствовала, если бы мы не сузили понятие, зачисляя в интеллигенты только тех, кто чувствует вину перед народом и не верит в Бога. Англичане, перенявшие от нас это нерусское слово, пишут его курсивом, как иностранное, но нередко употребляют, не имея в виду двух упомянутых свойств. Получается что-то вроде образованных, мыслящих и совестливых людей.

Мы говорим об англичанах, хотя Крифт — американец. Дело в том, что американские обращения — в том же русле, что английские, и от них зависят. В Америке много католиков, но это — ирландцы, литовцы, итальянцы; такие случаи как с Крифтом, — совсем другого рода. Человек сам выбирает конфессию из вполне осознанных соображений. Как раз это и было в Англии, а оттуда перешло к американским интеллигентам.

Итак, у англичан ненависть к католицизму, подкрепленная памятью о недолгом, но страшном правлении Марии Тюдор, немного отступила примерно в середине XIX века, когда его приняли будущий кардинал Ньюмен и будущий кардинал Мэннинг. Вскоре у них нашлись последователи, которых можно разделить на два типа: одних привлекли глубина и богатство западной апостольской традиции, других — ее красота. Как ни странно, и те, и другие разглядели евангельскую милость в глубинах конфессии, которая еще недавно отпугивала жестокостью. Первых у нас почти не знают; это — лорд Эктон, супруги Мейнел, поэты Ковентри Патмор и Джерард Мэнли Хопкинс, еще некоторые. Держались они более или менее вместе, их было довольно мало, и через них, главным образом через семейство Уордов, католичество восприняли те, кто писал уже в XX веке, скажем — Честертон и Морис Беринг. Со вторыми все не так четко, они часто ссорятся, как и подобает богеме, в их тяге к католицизму много от моды, а много — и от того, что прекрасно выразил Уайльд, сказавший: «Католичество — для святых и грешников. Приличным людям сгодится англиканство». Сам он с детства то подходил к

католичеству, то от него отшатывался, и принял его буквально на смертном одре, уже утратив дар речи. Позже и тише, стал католиком другой гедонист, король Эдуард VII. тоже перед самой смертью (1910). Кроме гедонизма, они похожи не были; король не обладал ни тонкостью Уайльда, ни его талантами, ни его пороками. Он был значительно проще и, вероятно, искал в католичестве милости к такому блудному сыну.

Когда читаешь, как мучительно и серьезно относились к своему переходу в католичество Честертон и Беринг, или будущий монсиньор Роналд Нокс, сперва немного удивляешься. Очень похожие на них люди, никак не «приличные», именно святые и грешные — Дороти Сэйерс, Чарльз Уильмс — спокойно оставались англиканами. Т.С. Элиот, родившийся в семье унитариев, присоединился к «высокой церкви», т.е. к англо-католичеству, и Бродский имел право написать «католик, он дожил до Рождества», но был он все-таки англиканином. К «высокой церкви» принадлежали и Сэйерс с Уильямсом, друг их Льюис — вообще к «низкой», т.е. к чистому протестанству. А вот Честертону, Берингу, Ноксу в англиканстве чего-то не хватало.

Мне помогли понять их (ничуть не в ущерб Сэйерс или Уильямсу) статья молодого оксфордского богослова и повесть датской писательницы. Стрэтфорд Колдекотт шел уж совсем издалека, вроде многих из нас — от атеизма, через увлечение Востоком, и не успокоился, пока не ощутил сочетания мистического богатства с безукоризненной разумностью. Повесть «Пир Бабетты» беззастенчиво и очень ярко иллюстрирует и то, что сказал

бедный Уайльд, и то, что сказал Честертон: протестант отдает веселье, или развлечение, или еще что-нибудь в этом духе, а католик отдает все и получает все обратно, с избытком. Однако, и это — не ответ. Колдекотт пришел к католичеству ниоткуда, а у Карен Блиссен речь идет о лютеранстве, не об англиканстве.

То, что англиканам в их церкви не сидится, показывают и обращения в православие. Им повезло, после войны у них поселились Зёрновы, Франк, Антоний Блюм, и это не осталось без последствий. Одни — скажем, Льюис — много взяли у православия, другие решили искать мистическую глубину и евангельские блаженства не у себя, а в восточной традиции. Получилось удивительно: им гораздо лучше, чем нам удастся воссоздавать и ангельскую красоту, и тишь православия. Неужели это как-то объясняется тем, что кельтская святость V—VII веков знала райское преобразование мира и особое, детское юродство, а у англо-саксов VII—XI вв. есть то непротивление, которое связано для нас с именами Бориса и Глеба? Может быть и более простая разгадка — у них не было ни татарского ига, ни Иоанна Грозного, ни советской власти — но их, слава Богу, во многих странах не было. Что ни говори об английской свободе и английском уюте, жесткости там тоже хватало. Честные, любящие Англию англичане первыми ужасались таким антихристианским качествам своих сограждан, как грубая кровожадность и напыщенное ханжество. Размышления об английском православии могли бы много нам дать, и я надеюсь еще поговорить об этом, но сейчас речь идет об англичанах и американцах, принявших католичество. Казалось бы, хочешь глубины

или милости — найди их в своей части церкви. Но тут надо вспомнить, что люди, перешедшие в католичество, остро ощущали отсутствие апостольской преемственности, хотя вопрос этот — спорный, может быть, она и есть.

Самые последние годы вводят нас в какой-то еще не совсем понятный сюжет. Несколько лет назад немалая часть высокой церкви ушла в католичество. Среди этих людей есть священники, например — бывший секретарь Льюиса, позже ставший каноником Уолтер Хупер, и один из лучших исследователей Честертона доктор Уильям Одди; им этот переход стоил сана. Случилось так потому, что англо-католики согласились на женское священство. Летом 1998 г. ждали, что отойдет еще больше народу — решался вопрос о гомосексуализме; к счастью, гомосексуальных браков не признали. Заметим, что искажения и преувеличения аджорнаменто, которые чуть не растворили «в этом мире» великие замыслы Иоанна XXIII, играют сейчас гораздо меньшую роль, чем в 70-х и 80-х годах. Все эти полутусовки — уже на обочине. А в центре, в сердцевине, происходят поразительные вещи. Римские католики (так называют обычных католиков в Англии) сделали весной 2000 года поистине величайшее дело — Папа Иоанн Павел II покаялся от лица Церкви. После этого трудно не ощутить, что Церковь эта — живая, и, как сказано в Евангелии, убить ее невозможно. Честертон и его друзья иногда предполагали, что католичество вберет в себя англикан. Что, если они правы? Знать мы не можем; и пишем об этом потому, что рассказываем не просто о христианском, тем более — не англиканском, а очень католическом авторе.

Питер Крифт — истинный католик, и потому, что он не боится никаких вопросов, и потому что он совершенно естественно, не стилизуя и не копируя, воспроизводит постепенные, логичные рассуждения схоластов. Все это вместе дает ему детскую обстоятельность. Честертон сказал об одном англо-саксонском святом, что тот серьезен, «как хороший ребенок за игрой». Сам он тоже был таким ребенком и обстоятельность любил. Любил он и разум, отождествляя его с незыблемым законом добра, как отец Браун в «Сапфировом кресте».

Все это есть у Крифта. Он сумел быть безукоризненно четким, когда речь идет о добре и зле, избежав и категоричности, и пошлости. Теперь это очень нужно, но не так просто. Века нетерпимости показали, наконец, что она не только жестока, но и бесполезна. Однако сочетать милость с ужасом перед злом умеют немногие. Вот Честертон — умел; именно он писал, что ужас перед жизнью Уайльда снимается ужасом перед тем, как Уайльд за это поплатился. Мы же обычно облегчаем себе задачу. Одни считают, что нелепо или, в лучшем случае, невежливо, ужасаться какому бы то ни было злу; другие — что расплате за зло надо победно радоваться. Если помните, отец Браун в «Оке Аполлона» невыносимо страдает, встретившись со «жрецом солнца», просит его покаяться — и, не дождавшись этого, отпускает со словами: «Пусть Каин идет, он — Божий». Конечно, мы умеем говорить о любви к человеку и ненависти к греху, легко цитируем «...Аз воздам» или «предоставьте место Богу», но на практике, в жизни, непременно спотыкаемся именно здесь.

Питер Крифт сочетает милость с четкостью, именно так, как говорит о том энциклика Иоанна Павла II «*Veritatis Splendor*». Повторим, это — редко сейчас, и особенно нужно. Наверное, еще и поэтому он так замечен в необозримой массе религиозных книг, так популярен там, у себя, и так нужен у нас.

Что до конкретных работ, мы выбрали именно эти по нескольким причинам. Назову далеко не все. Книга о небесах проверена на практике — многие люди (здесь, в Литве и России), брали из нее ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, она особенно обстоятельна. Правда, читателям все-равно не хватило, и через десять лет Крифт написал продолжение, которое, перефразируя название известного фильма, озаглавил: «Все, что вы хотите узнать о рае, но боитесь спросить». Там, в основном, он разъясняет достаточно частные вещи. «Три толкования жизни», не теряя обстоятельности, по-честертоновски красивы и лаконичны. Кстати, очень хорошо читать подряд эссе Честертона об Иове, главу из этой книги и маленькую, поразительную книжечку Федора Николаевича Козырева, несколько лет назад вышедшую у нас. «Экуменический джихад» мы решили дать в пересказе — он, как раз, хорош не обстоятельностью, а неожиданностью и проповедническим вызовом.

Надеюсь, знакомство с Питером Крифтом на этом не кончится, и он встанет для русских христиан в тот же ряд, что Честертон, Льюис, Тагуэлл или Дороти Сэйерс.

6. О книге «Экуменический джихад»

Питер Крифт, католический мыслитель, преподающий философию в Бостоне, написал много. Особенно известны книга о страдании, еще одна книга о рае, продолжение первой, и сравнительно короткая апология христианства, лучше которой не было, наверное, со времени Ньюмена («Основания веры», 1988). Только что я слышала от одного американца, что он «Lewislike figure». Так это или не так, но сам он открыто продолжает то, что делал Льюис, и даже сочинил что-то вроде пьесы для чтения, где умершие в один день Льюис, Хаксли и Кеннеди спорят перед воротами рая.

Сейчас вышла книга, название которой в переводе звучит гораздо хуже, нет соответствующих русских слов. По-английски как-то все переплавлено; читаешь «Ecumenical Jihad» — и ничего. А «Экуменический джихад» — плохо, колченого. Посмотрим, что тут можно сделать; самиздата все-таки уже нет, издательства вряд ли захотят ее печатать, а если захотят, возникнет какой-нибудь лучший вариант.

Посмотрев на обложку, я немного испугалась. Св. Георгий убивает дракона — да, хорошо, но слишком их много в Москве. Я не герб имею в виду, а всякие журналы, плакаты. Неужели и Крифт начнет кричать, доказывая вред экуменизма?

Прежде, чем открыть книгу, я снова, наверное — в сотый раз, подумала о том, что ученообразные слова плохи для веры, холодны, пустоваты, даже если не ассоциировать их с кошмарными мероприятиями совет-

ских времен. Помню, в прошлом году один православный священник и один католический сказали почти в унисон, что лучше говорить не об экуменизме, а о христианстве, как тот же Льюис. Православный, собственно, усомнился и в этом слове, предложил просто Христа, но тогда, по меньшей мере, придется иначе строить фразы. А вообще, можно попробовать, живее уж точно будет.

Я думала об этом, но зря. Можно было догадаться заранее, что Крифт говорит не о священной войне конфессий друг с другом. Мысль его другая, и она немислимо важна для него, так важна, что книга как бы взрывается изнутри, превращаясь из трактата в проповедь, то есть — в вызов миру.

Питер Крифт считает, что мир без веры уже предельно ужасен. Он (мир, не Крифт) лишился последних следов добра и смысла, граница ясна, противостояние — четко. Любая религия, кроме сатанизма, ненавистна ему. Правда, позже оказывается, что размытый индуизм он выдержать может, но только размытый, да еще смешанный с очень опасной магией. Эту смесь Крифт противопоставляет всем другим верам, полностью относя ее к мирскому граду, если не хуже.

Дальше все понятно. Льюис писал в «Размышлениях о псалмах», что остров христианства очерчивается все четче. Крифт прибавляет: вообще остров веры. Можно ли грызться друг с другом, когда его вот-вот затопит? Конечно, нельзя.

Дальше, с ясностью томиста, он говорит о том, что хранит и знает каждая вера. Вот — самая близкая, иуда-

изм, чтущая Бога, но не во Христе. Вот ислам, чтущий Того же Бога — Крифт напоминает об этом, а то не все знают. Вот сокровища индуизма, буддизма, конфуцианства. Мы читаем беседы с Моисеем, Магометом, Конфуцием и Буддой, а потом возвращаемся к себе, почти забыв о своих разделениях. Возникает «мы, христиане» — и тут же Льюису, в видении, являются Лютер с Аквинатом. Сперва оба говорят примерно так: «Какое еще «просто христианство»?! Зачем же мы спорим век за веком?» Однако Льюис испытание выдерживает, догадавшись, что у них одна вера, но разные богословия. Крифт разбирает слово «вера», и выводит, что они употребляли его в разном объеме.

Большая радость все это читать. Действительно, сколько можно? Но сперва, перенимая его манеру (цифры, буквы, пункты), задам четыре полувопроса:

1) Был ли мир другим, получше? Не иллюзия ли это, вроде тех, которые возникали тысячу лет назад или пятьсот, или тысячу пятьсот? Всякий раз мир — хуже некуда. В V веке рушился Рим. В X он настолько растлился, что над какой-то чехардой жутких женщин и странных пап возникла легенда о папессе. Это ведь еще страшнее, чем просто «мир сей» — твердыня христианства гнила на глазах. Вы скажете, что твердыней был Константинополь, но почитайте о том же веке в Византии. Возьмем XV, Бог знает что. Словом, каждый раз, и в промежутках тоже, казалось, что дальше некуда.

Я не спорю с Крифтом, а просто думаю. Да, конечно,

тогда грех платил дань лицемерием — но лучше это или хуже? Подробнее — под № 3 (совсем как у Крифта).

2) Именно те свойства «мира», которые так видны теперь, Крифт связывает с нынешним десяти — ну, двадцатилетием. Наверное, мне очень повезло, но я их видела и в 50-х, которые он считает идиллическими, и в 30-х, и видела бы раньше, если бы жила тогда на свете. Сейчас речь идет не о советских ужасах, больше похожих на какой-то пласт Средневековья, а об ужасах вседозволенности. Но они же были! Меньше, больше, не в том суть. Целые разряды людей — скажем, наша богема — совершенно ничем не отличались от нынешних (да и тогдашних) американцев этого рода. Все позволено, все смешно, все относительно; главное — чтобы мне было удобно, а если я хочу удобств еще для кого-то я просто прекрасный, добрейший человек! Помешательство на, скажем так, любви, полная безответственность, полное довольство собой (поверху, конечно; внизу комплекс на комплексе) — все было, сколько я себя помню. Было и другое, но оно есть и сейчас.

3) Недавно кто-то сказал о Богородичной иконе в Чикаго: «Она плачет о Церкви», — не предположительно, а утвердительно, как всем известный факт. Я не знаю, откуда это известно, но на правду похоже. Вспомним Федотова, «Об антихристовом добре». Суд не только начнется с дома Божия, он все время над ним и совершается. Льюис писал: «Самый плохой человек на свете — плохой религиозный человек». Если бы не фарисеи, то равнодуш-

ный чиновник и грубые, темные солдаты не распяли бы Бога. Конечно, Крифт пишет не о том и мимоходом упоминает о недостоинстве христиан, но мы должны всегда помнить, как позорим Церковь перед миром. Тем более здесь, сейчас, когда снова и снова тащим в храм не верблюда, а просто мастодонта амбиций, обид, всех болезней униженной души. Что мы покажем — наш эгоизм, наш практицизм, попытки возвысить себя? Подумаем об этом, а теперь пусть говорит сам Крифт.

Описав бессмысленность и мерзость мира, где все позволено и единственный критерий — «так мне приятней», Питер Крифт говорит: «Кончилось время религиозных войн, начинается время религиозной войны — войны против безверия».

Потом он напоминает, что от Пятидесятницы до 1054 года, тысячу лет, видимая Церковь была единой. Вторую тысячу она дробилась. Скоро начнется третья. «Быть может, по дивной интриге Промысла, оно станет временем единства [...] Нехристианский мир вызовет ответ, и мы вернемся к единой Церкви, чтобы ему противостоять».

Собственно говоря, продолжает он, с Божьей точки зрения, то есть — на самом деле, «Тело Христово и сейчас едино, ибо Оно едино в вечности [...] Христос не разделся, разделились только Его нешвенные одежды».

Умеющие видеть давно заметили неопровержимые знаки единства. Крифт говорит особо о двух людях — об Иоанне Павле II и о Клайве Стейплзе Льюисе.

Напомнив для верности, что воевать мы будем не с плотью и с кровью, не с людьми, а с особым духом, он переходит к сокровищам других вер.

«Высший авторитет нашей Церкви, — пишет он, — Второй Ватиканский Собор, учит нас, что мы должны вникать в мудрость других религий и учиться у нее» и напоминает, что Отцы Церкви учились у Платона, св. Фома Аквинат — у Аристотеля.

Это не так уж легко, ибо «религиозной истиной надо жить. Религию постигают не так, как ученый изучает животное, а так, как мы узнаем друга или семью. В отличие от науки, религия познается только изнутри [...] Это не значит, что вы не поймете индуизма, пока не станете индуистом; но это значит, что надо хотя бы представить себе, что было бы, если бы вы верили и чувствовали, как он».

Чтобы мы это представили, Крифт дает слово Конфуцию, Будде, Магомету и Моисею (именно индуиста у него нет). Конфуций рассказывает о мудрости скрупулезно упорядоченной жизни; Будда, не споря с ним, называет его мудрость «мудростью Марфы», прибавляя: «А я расскажу тебе о мудрости Марии». (По этим словам Крифт понял, что тот «прошел на небе курс Писания».) Дальше идет такая беседа:

«— Мы должны творить дела Марфы, но в духе Марии.

— Что же это за дух? — спросил я.

— Молчание, — ответил он. — Внутреннее, да и внешнее. Ваша культура не слышит голоса Божия, ибо шум оглушает ее [...] Когда слова рождаются из тишины, они обретают силу. Слова, родившиеся из слов — болтовня бюрократов и ученых, делающих доклады».

Потом Будда напоминает о том, «что все ваши святые называли отрешенностью. Без нее вы не освободитесь

от вашего рабства времени, часам, делам, собственному Я». После прекрасных рассуждений о погруженности в молитву Будда исчезает. Появляется человек в тюрбане и так не нравится Крифту, что тот просит: «Господи, избавь меня от него!», но слышит:

«— Не буду.

— Почему? — спросил я.

— Потому что он даст тебе еще более важный урок, чем Конфуций или Будда.

— Какой же, Господи?

— Он назовет самую суть и душу истинной веры».

Крифт спрашивает, что же это, и уже не Господь, а Магомет отвечает: «Ислам».

«— Ислам, — сказал он. — Ислам, повиновение и тот покой, который оно рождает. Да, мир, которого мир дать не может, мы обретаем только тогда, когда сдадимся перед Богом, отдадим Ему всю нашу волю. Вот она, суть и душа истинной веры. Как же ты забыл? Почему иноверец должен тебе напомнить? Разве нет у тебя пророков и святых?»

Крифт спрашивает:

«— Кто ты теперь, христианин или мусульманин?

Он ответил как-то уклончиво:

— Почему ты сказал “или”? Разве можно быть христианином, не отдав свою волю Единому Богу?»

Несколько растерянный, Крифт вынимает четки с распятием. Магомет падает на колени, а поднявшись, говорит так:

«— Вы не побеждаете мира, вы не побеждаете в битве, в священной войне, духовной брани. Ваш мир сколь-

зит к преисподней. Почему вы отдали целый век дьяволу? Ваши ученые умны, сокровищницы — полны, вас много, вам хватает и консерваторов, и либералов, но вы вечно толкуете о себе, о своих правах, свободах, самовыражениях, а не о том, как отречься от себя и покориться Богу [...]

Вы забыли простой урок своих святых, и стали сложными, смятенными, неверными, приверженными своей расколотой воле, своим похотениям, которые вы называете «нуждами». Потому вы и не видите истины, простой и яркой, как солнце пустыни. Вера, которой я учил мой народ — самая простая на свете. Есть время сложности, есть время простоты. Как по-твоему, какое время теперь? [...]

Культуре, которая говорит: “Не упрощайте!”, когда матери убивают нерожденных младенцев, ислам, как и пророки, напомним: “Так сказал Господь!”»

Крифт спрашивает, не слишком ли воинственна мусульманская вера, и Магомет отвечает:

«— Процентом пять всех мусульман верит, что джихад — обычная война, истребление неверных. Коран ясно говорит, что воевать прежде всего надо с собой, со своими грехами и своей неверностью.

— Но ваша история полна... — возражает Крифт, а Магомет парирует:

— Крестовых походов, пыток инквизиции, насильственных обращений, еврейских погромов?».

Они толкуют о разуме и Аристотеле, о благоговейном почитании Девы Марии (по словам Магомета, он упоминает Ее в Коране тридцать четыре раза, называя «чистой

и вознесенной [...] выше всех женщин» и, наконец, о том, что «войдя на небо, Магомет сразу поклонился Спасителю, ибо Его узнал».

«— Надеюсь, — продолжает он, — что многие из моих благочестивых последователей сделают этот, последний шаг паломничества. Они не сделали его на земле, но могут сделать там, на небе, как я».

Завершается беседа такими словами пророка: «Когда видишь в людях бесов, бесы могут принять это серьезней, чем люди».

Появляется Моисей. Он постоянно отвечает вопросом на вопрос, и вообще был бы похож на нью-йоркского еврея, если бы не величавость и скрижали. Крифт удивлен; Моисей вспоминает антисемитский стишок Беллока, и хвалит его: «Он воспринимал нас всерьез!»

«— Лучше дать нам пинка, чем погладить по головке — продолжает он. — Да, мы другие. Как же иначе? Сам Господь стал евреем! Не просто человеком, евреем. Трудно принять это, а?»

Моисей негодует, что Новый Израиль не хочет быть другим, особым, святым в первом значении этого слова. Крифт опять теряется:

«— Знаешь, я американец, а мы как-то больше любим равенство.

— Оно и видно! — взревел он. — Вот и катитесь в ад!
— Что?

— Ты слышал. Вы больше боитесь неравенства, чем ада, и потому вас учат, не вы учите. Когда Иисус говорил про соль, утратившую силу, кого Он имел в виду, как ты

думаешь? Евреев первого века? Нет, вас, американских католиков двадцатого!»

Крифт упирается.

— Ты хочешь сказать, что Церковь права, а все неправы? Что буддисты, мусульмане, конфуцианцы не спасутся?

— Глухой ты, что ли? Когда я это говорил?

— Значит, их веры тоже ведут к спасению?

— И этого я не сказал. Путь — один [...]

— Значит, спасает только христианство?

— Христос спасает, Путь, Истина и Жизнь.

— Значит, нехристиане ошибаются?

— Когда противоречат Церкви, конечно!»

Беседа с пророком, с которым Сам Христос беседовал на Фаворе, длиннее и глубже первых трех, и кончается она согласием.

Книгу же завершает небольшое послесловие, сжатое повторение, которое мы приводить не будем. Надеюсь, читатель и сам сможет обобщить и разделить на «пункты» все, что тут сказано: Если же не сможет, то скорее всего из-за возмущения. И это побуждает подумать еще об одном.

Те, о ком сокрушался Крифт, больны равнодушием. Я упростила, конечно — все мы знаем, как нетерпимы люди контркультуры. В конце концов, принцип готтентота как был, так и остался главным мирским принципом, и прекрасно применяется к мысли (моя — свободна, твоя — нет). Однако, что ни говори, «у них» больше склонность к всеядности, «у нас» к нетерпимости в самом злом, личном, грубом, совсем не рыцарском смыс-

ле. Нельзя семьдесят лет безнаказанно вдалбливать полное нежелание и неумение понять другого. Поэтому как-то страшно — только дай людям еще одну борьбу! На собраниях прорабатывать не станут (хотя кто их знает), зато в каждосекундном общении, определяющем связи с ближним, может начаться Бог знает что. Да оно и так есть, никуда не делось, но стоит ли подпитывать?

Все эти вопросы довольно глупы. Конечно, как всегда в христианстве, Крифт обращается к имеющим уши, не зная, сколько семян куда упадет, и все-таки рискуя.

ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ



1. Лучший университет

Больше двадцати лет назад¹, в феврале 1975 года умер Вудхауз. Жил он тогда в Америке, на Лонг-Айленде. К Новому году королева посвятила его в рыцари, но сэр Пэлем приехать не мог, ему было девяносто три года, а может — и не хотел. За тридцать лет до того Англия его очень обидела.

Честертон когда-то сказал о Диккенсе, что у него было много комедий и одна трагедия. У легкого и кроткого Вудхауза комедий было не меньше, но и трагедия была, мы еще о ней поговорим.

Родился он в одном из тех семейств, которые не знаешь, куда и причислить — к среднему классу или к аристократам. В его романе «Рад служить» про бедного поклонника богатой девицы спрашивают: «А он не мог бы стать графом?» — и отвечают: «Мог бы, если бы убил пятьдесят семь родственников». Система майората порождает множество «мистеров», у которых родственник, глава рода, — граф или хотя бы баронет.

Маленький Пэлем часто жил у теток, мужа которых были священниками. С одним из них он гостил в замке, который намного позже описал как Блэндинг, владение своего любимого Эмсворта. Вероятно, тети были властные, и Вудхауз, сохранивший все лучшее, что есть в де-

¹ Теперь ровно тридцать (2005).

тстве, сохранил и грустное: очень боялся категоричных заботливых женщин. А вот священники в его книгах — хорошие, ханжи у него миряне, большей частью — из сект, склонных к экстазам. Чутье, охраняющее детей от фальши, сохранилось у него на всю жизнь.

Учился он в Далиджской школе. Этот пригород тоже запал ему в душу — много раз он описывал его под именем «Вэлли-Филдз». История школы очень интересна, возникла она в XVII веке, захирела, возродилась и к тем годам, когда там был Вудхауз, считалась одной из лучших. Позже, служа в английском отделении Гонконгского банка, он стал писать детские повести, где называл ее «Wrykin» (произносится, вероятно, «Райкин»).

Повести имели успех, но бросить службу позволило сотрудничество в довольно дешевых газетах. Писал он и романы, и рассказы, еще — очень подражательные, часто ездил в Америку (в первый раз — ради боксерского матча). В 1915 году он женился на женщине с дочкой. Примерно тогда же, в середине 10-х годов, он обрел огромную популярность.

К 1919 году, когда он надолго вернулся в Англию, уже существовали его бессмертные герои — Дживс и Вустер, лорд Эмсворт, Псмит. Правда, они еще были похожи на героев немого фильма, да и на персонажей тогдашней юмористики, но читатели ощутили, что появился поистине дивный писатель. Немного позже, в начале 20-х, молодая Дороти Сэйерс, создавая лорда Питера Уимзи, сплавляла Дживса с Берти Вустером, и этого не скрывала.

Двадцать пять лет Вудхауза нежно любили. Суровый Беллок назвал его «лучшим из нас, мастером наше-

го цеха». Оксфорд присудил ему докторскую степень, а один из популярнейших журналов поместил отчет о том, как добрые его герои голосовали «за», злые и низменные — «против». Среди добрых — Императрица, любимая свинья лорда Эмсворта, в отчете — *Imperatrix*, там все по-латыни.

Сам он, навсегда оставшись ребенком, именно так делил людей: злые (те, кто давит на других) и добрые (те, кто не давит). Как ребенок, он очень легко относился к вранью, любовался четой мошенников, Мыльным Моллоем и женой его Долли, даже шантаж не осуждал — благороднейший, мудрый Дживс сплошь и рядом именно так вызволяет своего хозяина. Казалось бы, еще немного — и цинизм; но, против ожиданий, его рассказы и романы исключительно чисты. Немного позже Малькольм Маггридж писал о нем: «Он просто светится добродетелью (*goodness*), и основана она на невинности». Вудхауз никогда не допустил бы, чтобы, как говорят в одном его романе, «секс поднял свою гнусную голову». Мало того — у его любимых героев истинно рыцарский кодекс. Бедный Берти только и делает, что жертвует собой; в романе «Фамильная честь Вустеров» он — герой во всех смыслах слова, хотя слабее, смешнее, инфантильнее его нет нка свете человека. Ранний роман «Неудобные деньги» — просто песнь о благородстве: и герой и героиня беспрерывно отказываются от наследства. Читая его, вспоминаешь фильм, где на вопрос: «Почему нельзя читать чужие письма?» — отвечают: «Нельзя, и все».

Но и этого мало: он, не судивший жуликов, благоговейно любит закон. Критики заметили, что у него много

прекрасных священников и полисменов. Пасторам, пишет один из них, он «особенно благодарен». Это верно, а про полицейских — не совсем. Есть у него и надутые дураки, а французские ажаны — чудовищны, как советское начальство. По его мнению, они служат не закону, а бюрократическому абсурду. Правда, он от них натерпелся.

Единственная трагедия случилась в такое время, на таком фоне, что слово это кажется кощунственным, но тогда и «Гамлет» — не трагедия, его же не водили на расстрел и не морили голодом. Вудхаузы часто жили во французском городке Ле-Тукэ. Весной 40-го года они пытались уехать оттуда, но не успели. В июне немцы их арестовали, по недостоверным сведениям — когда Вудхауз играл в гольф, по недобрым слухам — когда он кутил с друзьями (то есть плевал на Францию, а немцев — ждал). Пожилых англичан с китайским мопсом выгнали из дому. Жена на время пристроилась у знакомых, Вудхауз оказался в каком-то узилище для гражданских лиц. Там он писал письма другу, надеясь отдать их по освобождению, и отдал, и тот издал их, а мы, читая, узнаем обстановку советской больницы — грязь, грубость, испорченный душ, огромные палаты (это был прежде сумасшедший дом), подозрительный компот в баках. Конечно, главное сходство — в полном беспорядке. Однако Вудхаузу удалось раздобыть машинку, и он писал едва ли не самые веселые романы — «Дядя Динамит», «Полная луна», «Деньги в банке», «Весенняя лихорадка». Узнал он и прекрасных людей, один из которых стал прототипом героя «Денег в банке» и романа «Что-то не так» (1957),

лорда Аффенгема. Словом, трагедией были не бытовые неудобства и даже не тяготы плена.

Ему предложили говорить по радио. Тут — тоже версии: одни считают, что в 60 лет, как предписывает конвенция, его «сняли с довольствия», и пришлось зарабатывать; другие (это достоверней) — что просто предложили. Он согласился. Как бы ни разбирали все это в годы травли (скажем — по свидетельствам слушавших), ничего «профашистского» или «пронацистского» найти не удалось. Он смешно рассказывал о себе, посмеивался над немцами. Американцы, поймавшие эту волну, скорее жалели его, а вот англичане — не простили.¹

Пришел 1944 год, Вудхаузы уже жили в Париже. После освобождения (август) им стал угрожать арест. К ним приставили английского офицера, и оказался им Малькольм Маггридж, позже — известный христианский журналист. Вспоминая об этом в 80-х годах, он и написал, как удивляла его кротость Вудхауза. Тот очень страдал, но не просто «терпел» и не смеялся над собой тем нервным смехом, который так часто свидетельствует о больном самолюбии, а был именно кротким — не утомлял своей бедой, радовался чему мог, утешал жену и своего стража. Тем временем в Англии его обличали, во Франции — «принимали меры», даже посадили ненадолго.

Защищали его Ивлин Во, написавший целую серию статей, Дороги Сэйерс, подчеркивавшая его наивность,

¹ Пишу в 2004 году, что тексты переизданы в переводе Инны Максимовны Бернштейн (изд-ва «Остожье» и «ЭКСМО». М., 2003)

и Оруэлл, который писал: «Нравственные взгляды Вудхауза остались такими, как у школьника, а по школьному кодексу военная измена — очень большой грех. Все это он делал по исключительной своей простоте. Никакой политики у него нет, тем более — «фашистских тенденций». У него вообще нет тенденций...» («В защиту П.Г.В.»).

Писал и Вудхауз, правда — в письмах: «Конечно, надо было понять, что чистое безумие — пользоваться их радио даже для самых невинных штук. А я не понял. Видимо, тюрьма искушает разум». Это упрек себе, но есть и упреки другим. Он, казалось бы — абсолютно добрый, с невыносимой горечью повторяет: «Были бы там сами!» Вменили ему только, то, что он вменил себе — использование немецкой аппаратуры. Однако он не вернулся, уехал в Америку, купил дом на Лонг-Айленде, в маленьком селении Реземенбург. Он издал свои «военные книги», написал еще двадцать девять, а тридцатую, снова о лорде Эмсворте, не дописал. Совсем незадолго до смерти он стал «сэром». Поневоле вспомнишь Розу Макколи, которая стала кавалерственной дамой — и тут же умерла (1958). Они вообще похожи, даже родились в одном году, но это другая тема.

Там, в Англии, Вудхауз давно признан классиком, а у нас — нет. В 20-х годах его издавали, в 1928 году — даже несколько книжек сразу. Популярным он стал только среди таких людей, как Стенич или Эйзенштейн. Любили они в нем никак не чистоту, даже не простоту, а примерно то самое, что заново полюбили теперь, — вызов тяжкой серьезности. Честертон, проповедник и пророк,

был для них чем-то вроде особенно лихого модерниста. Что уж говорить о Вудхаузе!

Переводы тех времен иногда — плохие, всегда — упрощенные. На самом деле Вудхауза можно читать как пособие по стилистике и даже по английской словесности, он прострочен аллюзиями. Прочитав его в 1946 году, я сорок с лишним лет думала, что перевести его невозможно, а сравнительно недавно — все-таки попробовала, но сага о Дживсе и Вустере так мне и не далась. Англичане восклицают: «Оу, перевести его нельзя!» Может быть, и нельзя; во всяком случае — трудно, причем одним трудом тут не возьмешь, не возьмешь и одним вдохновением. Почему же мы все-таки пытаемся? Кто как, а я — потому, что верю в целительную силу слова.

Когда Вудхауз был молодым, Надежда Александровна Тэффи написала очерк о «круглом дураке». Это не обычный дурак, у которого «ветер в голове», а обстоятельный, солидный, круглый, «как будто корова языком облизала». Он все знает, у него все сходится.

Всякий раз, если учат и вещают в таком духе, возникает протест, исключительно приятный, но и достаточно опасный. Чуть зазеваешься — он порождает цинизм и глумливость, люди пугаются, шарахаются к назидательности, и так далее. Льюис считал, что это очень удобно для чертей: мы мечемся или бьем друг друга, а они рады. Действительно, и цинизм, и всеведение — свойства духовные, бесовские двойники высоких духовных даров. Сейчас и здесь нам важен тот дар, который так страшно искажается в цинизме. Назвать его нелегко, некоторые называют «истинностью», некоторые — «свободой», тут

же объясняя, чем отличается она от своего гибельного двойника.

Много хороших вещей держится им — достоинство (но не важность), смех (но не глумливость), радость (но не бравурный оптимизм), терпимость (но не безразличие), доброта (но не та, мирская, которая сводится к непрошенной и суетливой опеке). Поразительно, что все это можно увидеть у нас. По логике должны были вымереть все такие люди, но нет — они появляются, их все больше. Мои нынешние студенты свободнее в этом смысле, чем ленинградские филологи университетского золотого века, который длился примерно с 1945 года по 1948-й. Конечно, очень просто сказать, что легко быть свободным, если тебя не держит истина или нравственность; но я этого не скажу, потому что у лучших (собственно, о них и речь) истина и нравственность прекрасно сочетаются со свободой; это категоричность и законничество не могут с ней сочетаться. Да, издержки велики, откат — всегда преувеличен, но без этой мнимой беспринципности как пробьются сквозь фальшь единственные святыни, Бог и человек?

Проповедников и апологетов я очень люблю, беспрерывно перевожу, у них нет «идеологии», но поучения так надоели, что я прекрасно понимаю тех, кто отмахивается от Льюиса, Тагуэлла, даже легкого Честертона. Легкий-то он легкий, но именно его мгновенно превращают в воинственного идеолога. Он почти не виноват («почти» — потому что христианину можно бы и не славить так упорно реальный, не метафорический меч). виноваты те, кто пытался все заморозить. Удержимся от той

крайности, которую Льюис в «Кружном пути» назвал Югом (там бродит Блудильда, отгнивают ноги, а дальше лежат Темь, Топь и Черномагия). Но то, что она на свете есть, не причина идти на Север, к Люту, Спесильде и отцу Углу, который не щадит ни себя, ни других.

Чтобы удержаться посередине, на царском пути, хорошо видеть, что свобода и самое простое, детское добро — не противоположны. Если в нашем веке кто-то показывает это лучше, чем Вудхауз, я бы хотела такого писателя прочитать. «Показывает» совсем не подразумевает «намеренно», он никогда никого не учил, он просто такой. Честертон писал, что веселье и чистота сочетаются в раю; современный апологет Питер Крифт — что там сочетаются покой и воля (если перевести его слова, выйдет именно это). Блаженны чистые сердцем, они это видят и пытаются передать. Прежде всего, они сами так живут, и как-то это сказывается, даже если другим невыгодно видеть их свечение. Многие не захотят — а примут. Что же до тех, кто свободен, хотя и не особенно чист, они обрадуются, им станет легко, как с человеком, с которым не нужно корезить себя враньем или подавленной злостью.

Пустыня Исхода, в которой мы сейчас живем, лучше Египта для одних, хуже — для других. Литовские священники любят проповедь-тест: подумайте, кем бы вы были на Голгофе? Теперь часто гадаешь, что мы делаем в этой пустыне — поддерживаем руки Моисею, поклоняемся тельцу, скорбим о рабских пайках? И, только я об этом подумаю, само собой возникает что-то вроде мысли: свойства, которые мешали тогда идти, — низкие или,

как часто говорят, некрасивые. Казалось бы, запомни чудеса, положишься на них, хотя бы поблагодари — но нет. Однако те, кто родился там, подрастал и вошел в Обетованную землю, тоже были разные, недаром жизнь в Книге Судей так похожа на нынешнюю чернуху. Многие учились «гибельной свободе», а кто-то — другой свободе, доброй. Очень может быть, что обрести ее помогала радость, она ведь была в этой пустыне, и еще какая.

Психологи пишут и пишут, как опасно недополучить радости в детстве. Некоторые считают, что это — важнейший корень беспощадности. Но если говорить о взрослых, споры о том, страдание или радость — мегафон Божий, никуда не приведут. Здесь не «или» — «или», здесь — четыре возможности. Да, страдание — мегафон (сказал это Льюис), но если его не примешь, оно тебя разрушит. Да, «от счастья и славы безнадежно черствеют сердца»; но у кого-то, наоборот, они оттаивают и расцветают. Кажется, Бунин говорил Одоевцевой, что страдание улучшит хорошего человека, ухудшит плохого. «Хороший» и «плохой» — слова условные, человек многослоен и бездонен, но все-таки есть люди, повернутые к добру, и люди, повернутые только к себе. Вероятно, людей доброй воли улучшают и счастье, и страдание. Вудхауз описывает мир, просто пропитанный счастьем.

Конечно, нельзя предлагать это тем, кому действительно плохо — по обстоятельствам, не по капризам. Но ведь таких людей меньше, чем думают. Наверное, я преувеличиваю, я слишком люблю Вудхауза, но так и кажется, что он — неотделимая часть того университета, о котором говорит Пушкин. Вот уж кто поистине мудр,

а пишет, что страдание — только школа, университет же — счастье, даже здесь, на земле.

Лучшие возрасты жизни, детство и старость, умеют его воспринять, и оно их не портит. Наоборот, с детьми и со стариками что-то не в порядке, если они не радуются. Эмсворт или Вустер живут в раю, как дети: улитки, цветы, еда, животные, только кто-нибудь властный мешает, но они (вместе с Вудхаузом) не желают ему зла. Сестра кроткого лорда, леди Констанс замучила его, как тетя Агата — Вустера, но ни ему, ни Вудхаузу в голову не приходит, что ее надо наказать. Наоборот, Вудхауз очень доволен, когда «взрослым и важным» выпадает детская радость. Он никогда их не наказывает и от Бога им наказаний не ждет (вот бы поучиться нашим неофитам!).

Пока мы готовили первые книжки нашего издания, в «Книжном обозрении» появилась статья Т.Александровой о бландингской саге, выпущенной одним издательством (точнее, двумя: «Псмит» — в «Тексте», «Сага о свинье» — в «Бук чамбэр интернешнл»). Автор пишет: «...книжки Вудхауза — именно то, что больше всего нужно одуревшему и одичавшему россиянину. Нам, как говорил один из персонажей в пьесе Маяковского, сделают красиво, смешно, благородно, спокойно, радостно. И никаких тебе моралей и тенденций — буде сам не захочешь их извлекать из закрученных, но бесхитростных историй. Впрочем, все это при одном условии — если вы любите именно изящную словесность».

Я полностью с этим согласна. Согласится ли читатель — это уж его дело, его свободный выбор.

2. Сага о свинье

Пэлем Грэнвил Вудхауз родился в 1881 году, умер — в 1975-м. Молодость его похожа на молодость многих его персонажей: он — клерк, который пытается стать профессиональным писателем. Первые рассказы — для мальчиков, они печатались в журналах, и мальчики их любили. Потом он все больше пишет для взрослых, одного за другим создавая своих будущих героев. Первым был Псмит, 1910 год; в 1915-м появились Дживс и лорд Эмсворт. К тому времени Вудхауз обрел немалую известность.

Успех пришел к нему после тридцати лет и больше его не покидал. Он был счастливо женат, немислимо популярен, славился хорошим характером. Персонажи, переходящие из романа в роман, становились фольклорными, как Шерлок Холмс или герои Диккенса. Серии этих романов все чаще сравнивали с эпосом, применяя к ним слово «сага», а то и название «Одиссея».

Когда кончался шестой десяток лет, случилась беда. Вудхаузы отдыхали в маленьком французском городке. Там их застали немцы и его, как подданного вражеской страны, отправили в лагерь для пленных. Вскоре его выпустили — по Женевской конвенции гражданских лиц нельзя держать в лагере после 60 лет. Уехать он не мог. Немцы предложили Вудхаузу выступить несколько раз по радио для еще нейтральной Америки. Почти сразу он узнал, что против него возбуждено дело, за «сотрудничество с немцами». Американский офицер Малькольм Маггридж, позже — крупный журналист и мыслитель, написал

после его смерти о том, как был к нему приставлен, пока ждали то ли ареста, то ли оправдания. Больше всего его поражало кроткое спокойствие старого писателя, давшееся нелегко: когда оказалось, что суда не будет, он пожил еще во Франции, а потом уехал в Америку, не в Англию¹.

Там, в Штатах, он поселился под Нью-Йорком, на острове Лонг-Айленд, в маленьком селении. С течением лет англичане перестали спорить о нем, толковать и подзревать. К Новому, 1975 году королева посвятила его в рыцари. Через полтора месяца, в Валентинов день (14 февраля), он умер, и на ближней почте приспустили американский флаг.

У нас его переводили в 20-х годах, довольно плохо. Как и Честертона, но с большим правом, его считали разудалым, бездумным юмористом. Главная ошибка — в масштабе, он казался довольно мелким. Юмористом он все-таки был, хотя и не разудалым. Что до бездумности, тогда она бывала, совсем исчезла — позже, но об этом мы позже и скажем.

Потом издавать его перестали, по той же причине; а у себя в Англии он все явственней обретал славу классика. Хилер Беллок писал в середине 30-х годов, что он — лучший из живых английских писателей. Тонкий и печальный Оруэлл восхищенно доказывал, что он — истинный школьник. Пристли называл его великолепным. Язвительный Ивлин Во напоминал и объяснял, что Вудхауз создает «идиллический мир, [...] который снова и снова

¹ Я честно хотела убирать «повторы», но возникают какие-то дырки.

будет спасать грядущие поколения от неволи, быть может — худшей, чем наша»

К.С.Льюис, преподававший именно в том Оксфордском колледже, где Вудхаузу дали в 1939 году почетную степень доктора, писал, рассуждая о словесности, что Чосер, Сервантес, Шекспир, Мольер сочетали умение развлечь с мастерством хорошего ремесленника, и прибавлял: «Мне кажется, что, с очень небольшими исключениями, только такие писатели и остаются». Прав он или не прав, но, при всей разнице масштабов Вудхауз — именно такой.

Романы о Бландинге (их одиннадцать, вернее — 10,5) заняли всю писательскую жизнь Вудхауза. Первый он издал в 1915 году, над последним — умер. Образ этого замка не давал ему покоя, вернее — давал покой, и он к нему возвращался. Предполагают, что он хотел описать замок, где гостил в детстве, с дядей. Один исследователь считает, что название местности и замка подсказала детская книжка Беатрис Поттер «Поросенок Бланд» («The Pigling Bland», 1913); может быть, через годы, она навела и на мысль о свинье? Фамилии многих персонажей — Эмсворт, Бошем, Трипвуд — это названия деревень и коттеджей на юге Англии, где он часто гостил.

Первые лет пятнадцать романы этой саги были другими, во всяком случае — другим был лорд Эмсворт В 1915 году выходит «Что-нибудь этакое», в 1923-м — «Положитесь на Псмита». Второй из них недавно издан у нас (пер. И Гуровой), очень советую его прочитать, тем более что именно там Бакстер швыряется вазонами; но увидите вы других героев, почти совсем балаганных. Конечно, балагана хватает и позже, однако с Кларенсом, графом

Эмсвортским, произошло за 20-е годы примерно то, что произошло когда-то с мистером Пиквиком.

В своем трактате о Диккенсе Честертон пишет, что поначалу его герой смешон и глуп, ближе к концу — благороден и трогателен. У англичан в ходу слово «pantaloone» — Панталоне, второй клоун, простофиля. Таков лорд Эмсворт двух первых романов. В «Летней грозе» (1929) он немного другой, но, если бы ею все и кончилось, мы бы этого не заметили. А вот потом, от книги к книге, он явственно меняется. К нему все больше подходят слова Честертона о Пиквике: «Он [...] идет по жизни с той дивной доверчивостью, без которой нет приключений. За простаком остается победа; он берет от жизни больше всех. [...] Тот, кто достаточно мудр, чтобы прослыть глупцом, не будет обделен ни радостью, ни подвигом. Он сумеет веселиться в ловушке и спать, укутавшись сетью. Все двери открываются перед тем, чья кротость — смелее простой отваги. [...] Обстоятельства привечают его. С факелами и трубами, как гостя, вводят они в жизнь простаков и отвергают хитроумных».

Мечта о взрослом ребенке возвращается постоянно. Особенно велика нужда в ней после тех тяжелых лет, когда из людей пытаются вытравить все детские черты, кроме послушания. Многие из нас помнят середину пятидесятых годов и то, что было дальше. Один жесточайший режим десять лет как рухнул, другой — только что пошатнулся, и во всем мире заново, как не было, создавали безгрешных изгоев, подобных хорошему ребенку. Клоуны и юродивые Белля, герой Жака Тати, подростки Сэлинджера безотказно радовали нас. Культ подрост-

ка или очень молодого человека, начавшийся с Холдена Колфилда, распространился (скорее в литературе, чем в жизни) с невиданной быстротой.

Конечно, это был очередной миф. Подростки отличаются не только нетерпимостью к фальши, но и могучим, беспощадным себялюбием, а незыблемые правила, уйдя от взрослых, немедленно создают сами. Изгойство становится массовым; все мы это видели, да и видим, если у нас есть дети или внуки старше тринадцати лет. И неудивительно — человеческие страсти и слабости, какими были, такими остались. Те, кто надеется обойти их, строит ненадолго.

Конечно, люди, лишенные фальши и черствости, на свете есть, но это — не подростки. Не будем рассуждать о том, долго ли и часто ли бывают такими дети. Здесь нам важно другое: такими бывают старики. Однако если речь идет о лорде Эмсворте, возникает новая загадка.

Как мы помним, Ивлин Во называл «идиллическим» мир Вудхауза. В чем же идиллия? Мир этот очень красив, но замки, парки, цветы действительно красивы, да и Лондоном восхищались многие. Все хорошо кончается — но в мало-мальски божеской жизни все кончается хорошо. Правда, ждать очень долго, зато, пока ждешь, есть слой чистой радости. Другое дело, что и красоту, и этот слой надо увидеть; но они — есть, и они существенней, весомей, реальней всего остального. Религиозные философы учат, что зло — это черные дыры, у него нет «бытия».

И все-таки Ивлин Во прав, это — идиллия, далеко не только потому, что вместе с Вудхаузом мы видим мир глазами чистого, мирного человека. Тут неправды нет, она — в другом: «положительно прекрасные люди» сами собой

не держатся. Эмсворта мучают властные сестры и настыр-
ный секретарь, покушаясь на его покой и волю. Живет он
счастливо, но и страдает, как страдал бы ребенок. Время
от времени он восстает, как подросток, и мы рады, отчас-
ти — потому, что он при этом не звереет. Восстает он чуть
ли не в каждом рассказе и романе, но Вудхауз упорно пов-
торяет, что это — исключение: терпел-терпел — и довели.
То же самое можно увидеть в рассказах об отце Брауне.
Честертон снова и снова говорит, что кроткий священ-
ник «впервые» или «против обыкновения» стал грозным.
Примем условность, поверим авторам — все же и лорд, и
патер гораздо чаще терпят. Но разница между ними есть.
Почему сохраняет кротость отец Браун, догадаться мож-
но; как ухитрился не озвереть добродушный, но не слабо-
умный же граф — неизвестно. Мы не знаем, что бывает,
чего не бывает «на самом деле», но что-то люди подмети-
ли, что-то осмыслили. Взрослый человек, которого веч-
но поправляют, поучают, бранят, или сойдет с ума, или
страшно озлобится, или нарастит толстейшую шкуру; бы-
вает и все это вместе. Когда нас учат терпеть, чаще всего
имеют в виду именно шкуру, бесчувственность. Лорд Эм-
сворт ее не нарастил. Конечно, сохранить мир и радость
в таких обстоятельствах можно, но это — одна из самых
трудных духовных побед. Уход — не считается, как ни
прославлен он примерами, это — не победа, а смиренное
признание того, что одержать ее невозможно. О том, что-
бы она далась без усилий, нет и речи. А здесь получается,
что Эмсвортский граф — святой по природе. Что же до
мятежей, понять их нетрудно, но «в жизни» они уводят от
мира и радости, все больше разрушая душу.

Однако именно эта условность, по-видимому — неосознанная, очень хороша для читателей. Рассказ обретает особую невесомость и переносит нас в райский, безгрешный мир, где особенно четко выделяется только одно зло — взрослость. Но и для взрослых приходит свой час, их мы тоже видим плачущими или радостными: вот — леди Констанс с будущим мужем, вот — леди Гермiona в своем счастливом браке. В таком мире нам видны цветы, слишком скромные для графского сада, и мелкие существа в траве. Другой лорд, в другой книге, сидит в саду. «Почти сразу он увидел прекрасную улитку и стал смотреть на нее не мигая, но деятельно думая о том, как же они, совсем без ножек, передвигаются с вполне приличной скоростью». Тут приходит его друг, они беседуют.

«— Я смотрел на улитку, — сообщил лорд Аффенхем.

— Всегда смотрите на улитку, — одобрил его Мортимер. — Вот он, секрет счастливой и успешной жизни. Там, куда заглядывает улитка, не нужен врач.

— Вы о них думаете?

— Да не очень.

— Я все гадал, как они устраиваются. Вот хоть бы эта. Несется вскачь. У нее же нету ног!

— Видимо, сила воли»¹.

Если взрослый ощутит тут «радость узнавания», значит — ребенок в нем не умер.

Важнее другое: человек, совершенно забывший, как смотреть снизу, может очнуться. Именно на это рассчитывал Честертон, однако, мне кажется, ему это реже уда-

¹ «Чего-то не так» (пер. Е.Доброхотовой-Майковой).

валось. Мир его тоже очень красив, он четче и ярче, но умиленности в нем меньше. Он трогал сердце радостью, и о нем писали, что его слова — «как звук трубы». С чем сравнить слова и фразы Вудхауза? Может быть, с шелестеньем трав, о которых пишет Мандельштам? Не знаю; но мало кто сказал так ясно, что святые острова — это Англия.

Чтобы снизить тон, опасно приближающийся к пафосу, поговорим о свинье. Одинокие и робкие люди часто привязываются к животным, нередко — с истинным благоговением, но не к таким же смиренным! Несчастливая свинья стала символом отвратительного. А ведь она любит мыться, у нее хороший характер, и, главное, дети дружили бы с ней, но им не разрешают, поскольку к мифам о ее низости прибавляются мифы о жестокости.

А вот Честертон пишет в эссе о комнатных свиньях:

«Начнем с того, что свиньи красивы. [...] Очертания хорошей, жирной свиньи поистине прекрасны; изгиб ее бедра смел и груб, как поверхность водопада или контур тучи. Однако свинья хороша не только тем, что красива. Прелесть ее — в сонном совершенстве формы, которое сродни мягкой силе Южной Англии, где свинья и живет.»

Однако сам он такой свиньи не создал. Эта честь выпала Вудхаузу, которого он восторженно почитал.

Мистики и мыслители говорили, что мир — не машина и не организм, а произведение искусства. Иначе и быть не может, если верить в Творца. Некоторые шли дальше и уточняли, что он похож на игрушку. Во всяком случае, цветы и птицы похожи, словно их сделали для детей. А звери? Забудем, кто из них хищный, — и уви-

дим, какие они смешные, красивые, неправдоподобные. В мире Бландинга царит свинья, но и других существ там немало, насекомых — и тех видно.

Вудхауз легко создавал рай из любого местечка, сколь угодно скромного; скажем, он часто возвращался в лондонский пригород Вэлли-Филдз, где те же цветы, пчелы и собаки. Живя в таком же селеньице, только американском, неправдоподобно старый сэр Пэлем решил еще раз написать о своем любимом герое и начал «Закат в Бландинге». Над ним он и умер. Остались первые главы и сложные планы. Появляются какие-то дополнительные сестры, причем одна из них, Диана, — ничуть не властная. Однако что-то в романе не сходилось, он явно не получался. Наверное, как в его книгах, сюжет был точен — этот роман в его жизнь не укладывался. Но ощущение детского рая там есть.

Бессмертным здесь, на земле, Вудхауз стал без оговорок. Англичане в этом не сомневаются, даже если слишком взрослые, чтобы его читать. Все тот же Честертон пишет о том же Диккенсе: «Никто, кроме англичанина, не изобразит демократию свободных и все же смешных людей. В странах, где за свободу проливали кровь, чувствуют: если человека не изобразишь достойным, его сочтут рабом. Истинно велик сделавший для мира то, чего мир для себя не делает».

А у нас? В 20-х годах Вудхауза легко вписали в контекст незрелой вседозволенности, и печально ошиблись. Он безупречно чист и нравственно строг. Другое дело, что он добр — но кодекс у него исключительно четкий. Один исследователь заметил, как любит он священников

и полицейских (чтобы не огорчиться, вспомним, что это английский полисмен, напоминающий няньку, а не жестокого или тупого самодура). «Неприличия» он не допускает, все любовные линии — чище, чем в рыцарском романе. Прошло много лет, и он возвращается к нам.

Что же мы сделаем с ним? Кто-то отмахнется, это естественно, недаром нас так долго учили быть взрослыми, хотя и безответственными. Кто-то развлечется, это хорошо. Наконец, кто-то умилится во всех смыслах этого слова. Это совсем хорошо, но возможно ли. Послали к нам Толкина — мы приняли ненависть к злу за беспощадность к «плохим» и притчу о победе слабых превратили в военную игру. Послали Льюиса — мы его причислили к тем же кровожадным борцам, а иногда, что еще ужасней, — к писателям для «интеллектуальной элиты». Такого с Вудхаузом случиться не может, безвредность его обеспечена надежней, чем у Честертона: классик или не классик, а все-таки дешевый юморист. О жестокости нет и речи. Словом, кажется, что его никак не перетолкуешь. Но кто знает? Посмотрим¹.

¹ Что ж, посмотрели. Судя по сайту, очень многие считают его «прикольным», а иногда — развязным, хотя это, мягко выражаясь, не так. Но тут ничего не поделаешь. Каждый видит то, что хочет. (Прим. 2005 г.)

3. Послесловие к романам о непокорных лордах

Вудхауз долго хотел создать какую-то пару кроткому Эмсворту. Давно, в моем детстве, одна очень хорошая женщина делила людей на важных, бойких и тихих. Важные у Вудхауза — хуже всех, а бойких и тихих он нежно любит. Когда Эмсворт стал обретать свою особую трогательность, он оставил попытки сделать бойким его (если хотите узнать, как это получалось, прочитайте рассказ в 11-м номере «Иностранной литературы» за 1995 год). Наконец, в середине 30-х годов, почти сам собой, возник рассказ «Дядя Фред посещает свои уголья». Вудхауз восхитился своим новым героем и написал другу, что ему удалось создать что-то вроде постаревшего Псмита. Но, возлагая на этот характер большие надежды, он все-таки медлил, не приходили в голову сюжеты. В 1939 году он написал «Дядю Фреда в весеннее время» — и остановился, далеко не только из-за своих несчастий, которые начались через полтора года. Наоборот: новый, еще лучший замысел явился в плену, где он и начал один из самых блестящих своих романов, «Дядя Динамит» (издан в 1948 году).

Расставаться с лордом Икенхемом ему не хотелось. Уже в Америке, один за другим, он пишет два романа о нем: «Время пить коктейли» (1958) и «Рад служить» (1961). Первый ему не удался. Даже не верится иногда, что это писал Вудхауз, — такие длинноты и скороговорки, такие неуклюжие ходы. Вернее, начал он хорошо, а потом — запутался. Поэтому мы взяли на себя смелость предложить вам только первую половину (и то с купю-

рами) и самый конец, а остальное — коротко пересказать.

«Галахад в Бландинге» — книга о лорде Эмсворте, одна из поздних, после нее идут только известный вам «Пеликан» и незаконченный «Закат». Романы этой поры, после 1955-го — очень неровные. Если вы заметили, «Пеликан» — гораздо слабее, скажем, «Перелетных свиней», сюжет барахлит до невозможности, однако его обрамляют дивные сцены, когда девятый граф наслаждается покоем и волей. Нравится мне и линия Ванессы; но сейчас — речь не об этом. «Галахад», может быть, не хуже «Пеликана», есть в нем куски прекрасные, есть — слабые, но он, собственно, не вписывается в сагу. Дело не в свинье, свинья — тут, но возникает странное ощущение, что, создавая этот роман, Вудхауз другие подзабыл. Автор трактата «Уход за свиньей», который неукоснительно назывался Уиффлом, стал Уипплом. Вернулась Моника, а в «Полной луне», месяца на два раньше, был другой свинарь, без нёба. Наконец, в рассказе «Как стать хорошим дельцом» написано, что кроткий пэр приехал в Америку на свадьбу своей племянницы, и мог жить у тетки жениха, мисс Плимсол. Здесь оказывается, что Типтон Плимсол и Вероника поженились в Англии, а в Америку граф ездил на свадьбу своей сестры. Кстати, если это так, где была леди Констанс, пока шло действие «Полной луны»? В общем, многое не сходится.

Чтобы попробовать как-то во всем этом разобраться, расположим романы и рассказы одних лордах, исходя из последовательности событий, в них описанных:

«Что-нибудь этакое»
«Положитесь на Псмита»
«Хранитель тыквы»
«Хлопоты лорда Эмсворта»
«Лорд Эмсворт и его подружка»
«Летняя гроза»
«Задохнуться можно» }— 2-я выставка Императрицы
«Дядя Фред посещает свои уголья»
«Дядя Фред в весеннее время» — перед 3-й вы-
ставкой (весна)
«Сви-и-оу-оу-эй!» — перед 3-й выставкой (лето)
«Перелетные свиньи» — 3-я выставка
«Рад служить»
«Беззаконие в Бландинге»
«Общество для Гертруды»
«Мастер своего дела»
«Полная луна»
«Как стать хорошим дельцом»
«Галахад в Бландинге»
«Пеликан в Бландинге»
«Закат в Бландинге»
«Лорд Эмсворт в раю»
Лорд Икенхем после «Рад служить»:
«Дядя Динамит»
«Время пить коктейли».

Если же расположить романы и рассказы в порядке их публикаций, то получится следующая последовательность:

1915 — «Что-нибудь этакое»

1923 — «Положитесь на Псмита»

- 1924 — «Хранитель тыквы»
1926 — «Хлопоты лорда Эмсворта»
1927 — «Сви-и-оу-оу-эй!»
1928 — «Общество для Гертруды»
1928 — «Лорд Эмсворт и его подружка»
1929 — «Летняя гроза»
1931 — «Мастер своего дела»
1933 — «Задохнуться можно»
1936 — «Дядя Фред посещает свои уголья»
1939 — «Дядя Фред в весеннее время»
1947 — «Полная луна»
1948 — «Дядя Динамит»
1950 — «Как стать хорошим дельцом»
1952 — «Перелетные свиньи»
1958 — «Время пить коктейли»
1961 — «Рад служить»
1965 — «Галахад в Бландинге»
1966 — «Беззаконие в Бландинге»
1969 — «Пеликан в Бландинге»
1977 — «Закат в Бландинге» (неокончено).

Распределить во времени все это очень трудно, а поместить в какие-то определенные годы, и даже десятилетия — невозможно (см. примечания к «Рад служить»). Заметим, что в романах 1915, 1947, 1948 годов все обстоит так, словно ни I-ой, ни II-ой мировой войны не было (упоминание о II-ой есть в других книгах). А вот — мое частное чувство: когда я читаю рассказ Ванессы в «Пеликане», мне хочется думать, что ее родители, — герои романа «Что-нибудь этакое». Между изданиями прошло столько лет (1915—1969), что она могла быть их внучкой;

но все остальное, а главное — лорд Эмсворт, почти не изменилось, и между событиями этих романов прошло никак не больше 15 лет (скорее — меньше).

4. Дживс и Вустер

Рассказы и романы о Дживсе и Вустере — самые популярные из всего, что написал Вудхауз. Нынешний интерес к нему в немалой мере вызван английским сериалом об этих героях. Для Англии, а отчасти — и Америки, это какая-то «песнь умиления», и даже у нас его заметили не только развлекаясь, но иногда и умиляясь. Рыцарственный бездельник и мудрый слуга стали такой же бессмертной парой, как Пиквик и Сэм Уэллер. Самые чуткие из английских писателей предвидели это еще тогда, когда только-только начиналась слава их автора. Дороти Сэйерс намеренно сделала похожим на Берти Вустера своего сыщика, лорда Питера Уимзи, а потом, по ходу романов, все больше наделяла его мудростью Дживса. Чарльз Уильямс коротко, но очень тонко говорит об этой паре в первом из напечатанных романов, «Война в небесах» (1931) Честертон, Хилер Беллок, Пристли, Ивлин Во восхищались ими и их создателем.

Предшественник Вустера, Реджи Пеппер, появился в 1911 году когда Вудхауза почти не знали. Позже лучшие рассказы с его участием были переписаны «на Берти» и появились в сборниках 1925 и 1959 годов. Считается, что Реджи и ранний Вустер в какой-то мере списаны с актера и режиссера Джорджа Гроссмита. Позже, уже в рома-

нах, Вудхауз прибавил черты и словечки Антони, лорда Мидлмея (1909— 1950), а еще позже — черты братьев Казалет, один из которых, Питер, стал мужем его падчерицы. Можно предположить, что на выборе имени подсознательно повлияло то, что так называли второго сына Георга V, принца Альберта Георга, тихого и смешного. Когда его старший брат Эдуард VIII отрекся от престола (1936) и он неожиданно стал королем, он взял второе из своих имен и стал Георгом VI. Правда, Вустер — не Альберт, а Бертрам, но слова «принц Берти» были довольно привычными для тех лет, когда он появился.

Дживса мы встречаем впервые в 1915 году, в одном рассказе, который в 1917-м вошел в сборник «Левша на обе ноги». Он произносит несколько фраз, а служит у Берти Мэннеринг-Фиппса (есть там и тетя Агата). Фамилию Вудхауз взял у знаменитого игрока в крикет Перси Дживса, который был убит в 1916 году.

Берти Вустер, наверное, мог появиться только в Англии, где с XIII века отрабатывается редкое сочетание незыблемого кодекса чести, уютного юмора и почти детской свободы. Честь у него — на самом высоком уровне рыцарства и джентльменства, во всем прочем — полное потворство своим прихотям, которые и прихотями стыдно назвать, такие они трогательные. Смотрите, и пьет до опупения, и хулиганит, и вместе с Дживсом радостно шантажирует — и ничего, как цветок, причем не только для себя, но и для читателей. Правда, в ранние советские годы все-таки додумались, что романы о нем — «апология сытых» и перестали издавать Вудхауза, но это даже читать стыдно. В общем, Берти — тот идеальный, идил-

личный герой, которого ничуть не портит послевоенная вседозволенность. Точно такие же молодые люди выглядят у Ивлина Во совсем иначе. О тех, кто вообще не знает тоски по сочетанию чистоты и свободы, — говорить нечего.

Дживс — тоже идеальный герой, мудрец, набитый знаниями. Заметим, что читает он «великих русских» (в романе «Дживс и феодальная верность» прямо упомянут Достоевский). Подыскивая для него подарок, Берти решает купить Спинозу. Наконец, его речь прострочена аллюзиями — тут и Шекспир, и песенка Пиппы, и почти забытые поэты разных веков. Библейских аллюзий много везде, даже у Берти, который гордится тем, что получил в школе награду за хорошее знание Библии.

То, что Вудхауз — ребенок, даже не подросток, проявилось и здесь. Дживс шантажирует кого угодно для любимого хозяина и его друзей. Многие писали о том, что создатель их был исключительно кроток и невинен (Джордж Оруэлл говорит об его «весомой невинности»). Вероятно, он был и по-детски незащищен, а потому не считал злом оружие слабых — вранье или даже шантаж.

Наконец, Дживс только и делает, что дает советы, но никогда не лезет с ними. Кто-кто, а уж он не нарушает святыню privacy. Дело не в том, что он слуга, — он и опекун, Берти не зря как-то назвал его «няней». Однако здесь у него абсолютный запрет: не спросят — не советуй. Когда мы этому научимся?

«Фамильную честь Вустеров» Вудхауз писал в конце 1937 — самом начале 1938 г. Это было время высшего его расцвета. Именно тогда Беллок назвал его «лучшим

из нас» (то есть английских писателей), а вскоре ему присудили *honoris causa* степень доктора словесности в Оксфордском колледже св. Магдалины.

«Брачный сезон», такой веселый, он создавал после своих бед, в самое время травли. Работа шла туго, ему удавалось написать не больше трех страниц в день, и в письме к другу он жаловался, что раньше писал по восемь. Не говоря о глубокой, удивленной, какой-то детской обиде — ну, как они могут меня травить, сами бы там побыли! — он мучался и тяготами французского послевоенного быта. В начале 1947 года он прервал работу и стал переписывать старую пьесу, потом — вернулся к роману и в апрельском письме сообщил, что ему осталось две-три странички. Вообще же, в письмах, он выказывал неуверенность, которая ему, при всей мягкости и скромности, свойственна не была. Он очень хотел, чтобы сцена концерта вышла посмешнее, и боялся, что это не получится.

С 1 мая 1996 г. в Англии с большим успехом идет мюзикл «By Jeeves» (пьеса Алана Эйкберна, музыка Эндрю Ллойда Уэбера, который написал «Иисус, суперзвезда»). Берти Вустера играет Стивен Пейси, Дживса — Малькольм Синклер. Есть там и Бинго, и Гасси Финк-Ноттл, и Стиффи Бинг, и молодой священник Гарольд.

Осенью 1974 г., когда те же авторы писали первую версию мюзикла под названием «Дживс», они посетили очень старого Вудхауза на Лонг Айленде. Встретила их Этель, его жена, с большим противнем в руках, на котором лежали куриные ножки для кошек, населявших дом и сад. Все поехали к знакомым, у которых был рояль.

Вудхауз послушал музыку. Когда подали чай, жена стала его уводить. «Глаза, исполненные тоски, были прикованы к столу, — пишут либреттист и композитор. — Пока! — с сожалением помахал он сандвичам и исчез навсегда».

5. Кто такой Пэлем Грэнвил Вудхауз?

Несколько лет назад королева-мать открыла памятную доску на доме, где в 20—30-х годах жил Вудхауз¹. Вообще она — почетная покровительница его общества, и в 2000 году, на званом обеде в честь его дня рождения, читали приветствие от столетней любимицы англичан. Они с Вудхаузом похожи: оба — долгожители, оба — очень приветливые, оба — что-то вроде национальных реликвий. Мало того, в детстве они были знакомы.

Почему же именно Вудхауз стал такой реликвией? В Англии мириады юмористов, большей частью — хороших. Он написал больше ста книг; но так ли уж это важно? А вот на другой чаше весов — беда, позор, многолетняя травля, которая легко изгнала бы из литературы и более весомого писателя. Как-никак, его собирались судить и, хотя прямая опасность миновала, почти треть жизни он просто в Англии не был, жил в Америке.

¹ Мы сами непоследовательно пишем то «Вудхаус», то «Вудхауз». Конечно, звучит тут «с»; «з» появилось в наших изданиях 20-х годов и у какого-то крохотного количества людей застряло в памяти. Вообще же, это неважно, потому что по-русски все равно будет звучать «с».

И ничего, остался классиком или, может быть, стал им. Причем — особенным; классиков сейчас не очень любят, а его книжки можно купить в автомате, их читают в метро, на него походя ссылаются, непременно при этом улыбнувшись. Года два назад вывели розу цвета сливы, в память его прозвища «Plum»¹, и поднесли все той же королеве-матери. Растет она и в саду Тони Ринга, редактирующего прелестный журнал «Вустер соус»². Вудхаузовское общество, издающее этот журнал, все время что-то делает. То у них обед, то они возят по «вудхаузовским местам», то находят редчайшие материалы. Один из его членов, бывший министр Иэн Спраут, совершил истинный подвиг — разобрался в «деле Вудхауза»; но об этом мы еще поговорим. Входят в общество, среди прочих, композитор Ллойд Уэббер, написавший мюзикл «By Jeeves!», актер и писатель Стивен Фрай, сыгравший Дживса в телесериале, и Тони Блэр, которого знает всякий.

Чтобы понять, чем вызвана такая искренняя и почтительная любовь, стоит вспомнить (или узнать) как жил Вудхауз, каким был. Попробую рассказать об этом,

¹ Пишу для верности: «plum» по-английски — слива; но не только. Это — среди прочего, и коринка; отсюда — «плумпудинг». Однако само прозвище вызвано созвучием с именем Вудхауза, «Пэлем». Кстати, это — пушкинский «Пелам».

² Переводчику нельзя писать «непереводимая игра слов», но это — не перевод, и для желающих объясню название журнала «Wooster Sause». «Вустер» (Wooster) — Берти, любимый герой Вудхауза. «Вустерский соус» (Worcester Sauce) — острый соевый соус, изобретенный в графстве Вустершир.

неизбежно повторяясь — в разных предисловиях и послесловиях много есть; но будет тут и новое.

Столько писавший о лордах и членах их семейств, он был и сам из такого семейства, хотя далеко отстоял от тех, кто носил в этом роду тот или иной титул. Кажется, самым близким из пэров был двоюродный брат, граф Кимберли, последние годы своей жизни — секретарь Черчилля, вообще же — один из возможных прототипов Берти Вустера. А вот вглубь времен получается очень интересно. Вудхаузы восходят к сестре Анны Болейн, Мэри, и есть предположение, что ее сын Генри (в любом случае — кузен Елизаветы I), был на самом деле ей братом, поскольку Мэри, раньше, чем ее сестра, крутила роман с Генрихом VIII. Может быть, это и правда, кто их знает. Сам Вудхауз, при всей своей любви к лордам, совершенно этим не интересовался.

Для нас любопытно, что в XVII веке один из его предков, баронет, женился на Мэри Фермор. Позже Ферморы появились в России, и среди них немало известных. О Николае Ф. пишет Лесков в «Инженерах-бессребрениках». Любопытно и то, что на питерской набережной, недалеко от Николаевского моста, стоит дом с надписью «Казалет»

Отец Вудхауза, как часто бывает при майорате, надежд на титул или богатство не имел. Он был служащим, и служил в Азии. Сыновья жили у дядей и теток; по-видимому, это запало Пэлему в душу, и у него самая обычная степень родства — племянник-дядя или племянник-тетя. Среди дядей были священники, запало и это — он охотно вводит в рассказы и романы «кьюра-

тов», викариев и епископов, причем они всегда очень милые. Несколько раз он гостил в замках с парками. Считается, что один из них — прообраз Бландинга. Старший брат играл на рояле, застенчивый Плам сидел тихо или убегал к слугам. Это уже просто его романы, самый их дух.

Учился он в Далидже, под Лондоном, в старинной и хорошей школе, и очень ее любил. Они его тоже любят, сейчас там маленький музей. Первые его повести, а их немало — именно про школу. Приехав в Россию, Иэн Спраут обнаружил, что журнал с такой повестью читал очень старый Толстой.

Отучившись, Вудхауз не смог себе позволить Оксфорда или Кембриджа, даже если бы хотел. Служить он стал в Лондонском отделении Гонконгского банка, но вскоре его оттуда выгнали. По его словам, произошло это таким образом:

«Пришел новый гроссбух, и его препоручили мне. Титульный лист в нем был белый, гляцевитый». Естественно, он стал на нем писать. «Творение мое, как теперь сказали бы, вышло просто замечательное. С тех пор минуло 55 лет, а оно живо в моей памяти («Он вынул бриллиантовую булавку из галстука, улыбнулся и воткнул ее обратно».) Это — так, между прочим, было там и получше. В общем, чудо, а не творение. Откинувшись на спинку стула, я сиял, как Диккенс, только что окончивший “Пиквика”».

Однако он испугался и вырезал страницу. Главный бухгалтер был удивлен. Поставщик канцелярских товаров попытался понять, в чем дело.

«Кто-то ее вырезал, — сказал он. / — Какая чушь, — сказал бухгалтер. — Только идиот вырежет страницу из гроссбуха. Есть у нас идиот? / — Вообще-то есть, — признался поставщик, поскольку был честным человеком. — Такой Вудхауз. / — Слабоумный, да? / — Не то слово! / — Что ж, вызовите его и спросите, — посоветовал бухгалтер. /Так и сделали [...] Сразу после этого я обрел возможность посвятить себя литературе». Случилось все это в сентябре 1902 года, за месяц до его совершеннолетия (родился он 15 октября 1881). По другим сведениям, все было немного иначе и произошло через год.

Вудхауз стал много писать и печататься в журналах, — даже в «Панче», но совершенно не был замечен и жил, по английским понятиям, очень бедно. Вскоре он начал сочинять песенки для театра. При первой возможности, в 1904 году, он поехал в Америку, которую любил еще в школе, вроде бы — из-за тамошних боксеров (сам он боксировать не мог по близорукости, но многие его герои этим занимаются). Потом он ездил туда часто и женился именно там на молодой вдове Этель Ньютон, у которой была дочка Леонора.

Первые его романы выходили с 1906 года, но известности не принесли. Только в середине 10-х годов, 1915 и 1916, публика заметила, а критики расхвалили роман «Что-нибудь этакое» и несколько рассказов. Именно в этом романе появляется лорд Эмсворт, а в одном из рассказов — Дживс.

Чуть позже (жили Вудхаузы в Америке) он стал писать оперетты с либреттистом Гаем Болтоном. Текстов я

не читала и плохо в этом разбираюсь, одно могу сказать: успех был большой. В чем-то они мюзикл изменили. Теперь считают, что такой перемены не было потом целых 75 лет, до Ллойда Уэббера.

Когда в 1919 году Вудхауз, не попавший на фронт из-за той же близорукости, приехал в Англию, он уже был знаменит. Считается, что «золотой период» — с 1925 по 1955 год, но и до 25-го есть прекрасные романы, особенно «Дева в беде», «Стремительный Сэм» и «Билл Завоеватель» (все изданы теперь по-русски, равно как и «Что-нибудь этакое»).

Двадцать лет Вудхаузы счастливо жили в Англии и часто ездили в Америку. Книг у него за эти годы вышло очень много. Именно тут я должна предупредить: рассказывать о них, тем более — пересказывать их, я не буду, да это и невозможно. Сюжеты у него просто сборные какие-то, он складывает их то так, то сяк, иногда забывает и путает, но все это неважно. Когда суровый Хилер Беллок назвал его в середине 30-х лучшим из тогдашних английских писателей, а кто-то удивился, он пояснил: «Вудхауз владеет словом как великий поэт». Только словами, интонацией, аллюзией, метафорой, прямым сравнением¹ он создает свой уютный мир и божественных героев. Мне кажется, его романы и рассказы состоят из неповторимой по чистоте, точности и тонкости

¹ Приведем пример обычной вудхаузовской фразы: «Солидный мажордом, похожий отчасти на луну, отчасти на треску, глядел прямо в душу. А тот, кому глядела в душу треска, по неволе опечалится».

словесной ткани¹ и какого-то света невинности, который исходит от него самого. Ивлин Во писал: «Блэдингские сады — тот рай, откуда нас изгнали». У Вудхауза и Лондон такой, и Нью-Йорк. Кого-кого, а его из рая изгонять не за что.

Свидетельств об его ангельских свойствах очень много. Он никогда ни с кем не ссорился, всегда и со всеми был приветлив. Был он и робок, все же он жил в мире взрослых (правда, до поры до времени они его щадили). Очень важно, что робость у него ничуть не связана с самолюбием. Наверное, главное в нём то, что он совершенно искренне был о себе невысокого мнения и (совсем уж главное) из-за этого не огорчался. Можно привести слова, свидетельствующие об его скромности, но вне широчайшего контекста легко счесть их обычным, тщеславным самоуничижением. Если кто его не читал, доказательства бессильны. Если же кто читал или прочитает, он увидит, что качество это перешло к его любимым героям. Берти

¹ Именно поэтому на других языках его книги полностью зависят от перевода. Если в них окажется хоть что-то вульгарное, знайте, что виноваты только мы, переводчики. То же самое относится и к другой опасности — построению фраз. У него они безупречно невесомы, даже тогда, когда длинны. Можно предложить такой минимальный тест: если лорд, сэръ или просто джентльмен говорит дворецкому «ты», значит, очень важный призыв исчез. Это — наша грубость, или, если хотите, наша патриархальная сердечность, а не английская, тем более вудхаузовская, почтительность к другому человеку, особенно если он ниже по статусу. Может случиться и так, что это — нынешняя развязность, которой переводчик надеется восполнить недостаток синтаксической легкости.

Вустер, лорд Эмсворт, даже фатоватый Галахад, буйный Икенхем и солидный Дживс наделены тем свойством, которое было бы точнее всего назвать смирением, если бы не отвратительный религиозный новояз. А «плохие» у него — всегда самоуверенные и важные.

Примеры, хотя бы — для развлечения, такие:

«Случилось так, что я не очень умен, мне трудно что-нибудь придумать».

«Вам нравится моя мура? Ура, ура, ура, ура!» (надпись на книге).

«... Невидимая рука заменяет мой мозг цветной капустой».

Или такой отрывок из размышлений о любимом словаре цитат:

«Гавриил Романович Державин (1743—1816) часто признается Алексису Шарлю Анри де Токвиллю (1805—1859), что он совсем извелся:

— Видит Бог, я не чванлив, — жалуется он, — но когда рядом с тобой этот Вудхауз... Нет, не могу!

Алексис Шарль Анри разделяет его чувства. «Куда катится мир!», вздыхают они».

Когда Вудхауз узнал о словах Беллока, он даже не удивился, сразу решил, что это — шутка. Представить себе, что он всерьез говорит «моя проза» или «мое творчество», совершенно невозможно.

И еще два свойства, одно — прекрасное, но все же не совсем редкое, а другое — поистине ангельское.

Вудхауз все время работал. Теперь создали слово «трудоголик», и получается, что это — ненормальный какой-то. А, собственно, почему? Если бы не религиозный новояз, мож-

но было бы распространиться о том, что самое дело человека — каждую секунду создавать из хаоса космос. Вудхауз писал без всякого надрыва, работе тихо радовался, а с людьми смущался. Жаль, что мы сразу ищем, какой это психоз.

Другое свойство защищать еще труднее. Наверное, многие думали, как странно, что такие мудрые и добрые люди, как Пушкин, Диккенс, д-р Джонсон просто и хорошо относились к деньгам. Так относился к ним и Вудхауз, но механизм тут заметнее — может быть, и потому, что его никак не заподозришь даже в показном цинизме. Проще всего подумать о том, что противоположно это не щедрости и не бескорыстию, а озлобленной, завистливой бедности (нередко мнимой); какой-то брезгливой аскезе, которую обычно навязывают прежде всего другим; придиричивому и сварливому крохоборству. Вудхауз очень любил совершенно детские радости — уют, еду, цветы. Деньги были средством, больше ничем. Самый распространенный сюжет у него — молодые влюбленные хотят занять деньги, чтобы пожениться. Видимо, он действительно гений, потому что ни у них, ни у нас не возникает и мысли о корысти. Наверное, так обстояло бы дело с маленьким, лет до семи, ребенком, попади он в соответствующую ситуацию.

Удивленному своей славой и радующемуся деньгам Вудхаузу дали в Оксфорде докторскую степень, конечно — *honoris causa*. Очень трогательна статья, где его поздравляют хорошие герои, в том числе — свинья Императрица, и ругают плохие. Удивительно (или нет), что такие замечательные оксфордцы, как Исайя Берлин или К.С. Льюис этих событий не заметили, хотя Льюис преподавал в том самом колледже св. Магдалины, который степень присудил.

Сразу после торжества Вудхауз уехал во Францию и больше в Англии не был, хотя прожил еще тридцать пять лет с лишним (июнь 1939 — февраль 1975).

Плам и Этель отправились с Лё Тукэ, курортное местечко, где у них к тому времени была своя вилла. Целый год он писал, она — сидела с гостями. Конечно, с осени они очень беспокоились о дочери и о двух внуках, пятилетней Шарон и трехлетнем Эдварде¹. Летом 1940 года Францию с неожиданной быстротой заняли немцы. Напомним, тогда очень многие считали, что они ее вообще не займут.

Вудхаузов потеснили, потом — выселили, и наконец его отправили в лагерь для гражданских лиц. Лиц этих везли в теплушке, обращались с ними плохо, но непривычный к таким вещам Вудхауз исключительно кротко все терпел. Человек, которого у нас — раньше, а у них — позже, причислили к распущенным бездельникам, держался безупречно, смешил и утешал других, причем не считал все это заслугой. Немного помотав, пленников сгрузили в бывшем сумасшедшем доме (страшно подумать, что стало с прежними обитателями). Вудхауза поселили в палате на 60 человек, и привычные к человеческой жизни англичане узнали, что такое испорченный душ, крайне подозрительная еда, очереди в сортир, а главное — хамство.

Судя по любым воспоминаниям, Вудхауз оставался очень приветливым, работал когда только мог и не принимал привилегий, например — отказался занять отдельную каморку. Предложили ее, когда немцы про-

¹ Теперь — леди Хорнби и сэр Эдвард Казалет, деятельные члены Вудхаузовского общества.

слышали, что в Англии он «вроде Гете». Так начались его несчастья.

Сперва его и еще кого-то выпустили по Женевской конвенции, им исполнялось в том году 60 лет. Уехать к Этель он не мог, но пристроиться в Германии мог, у него там были друзья по Голливуду. Однако начальство сразу переправило его в Берлин, где ему предложили выступить по радио для Америки, которая еще оставалась нейтральной — конечно, не в смысле позиций, а юридически.

Вудхауз искренне думал, что подбодрит слушающих, тем более, что у многих были в плену родные. Много лет, всю оставшуюся жизнь, он осуждал себя за глупость — действительно осуждал, а не оправдывал, как делает множество людей. Однако видел он здесь именно глупость, а не подлость и не предательство; и, по-видимому, был прав. Глупость эта разрушила надвое его жизнь. Часто говорят, что Честертон или Вудхауз могли создавать такой детский, светлый мир потому что не знали горя. «Хорошо Честертону, он в Англии жил, потому и веселым он был», пишет Тимур Кибиров. Но вот, Вудхауз попал в двойную беду: и жил какое-то время не в Англии, а в отвратительном тоталитарном государстве, и узнал настоящую травлю, уже от англичан. Однако его книги ничуть не изменились. В эпицентре беды, с 1940 по 1947 год, он написал такие романы как «Брачный сезон», «Деньги в банке», «Полная луна». Приходится предположить, что свет, уют и радость он излучал сам, а тоску и обиду не хотел навязывать другим людям. Как это редко и как ценно!

Приехала Этель и сказала, что в Англии подняли страшный шум. Сыпались письма, его называли преда-

телем. Были и защитники — Оруэлл, Ивлин Во, Дороти Сэйерс и несколько ничем не прославленных людей. Они предлагали хотя бы выслушать его, а главное — сдержаться, пока ты не был на его месте. Очень печальны выступления Милна, твердившего: «Мы и так ему слишком много разрешали». Интонация этих инвектив — именно та, которую мы слышим у Сальери. Какая все-таки устойчивая пара! Недавно, чуть не плача, я читала что-то очень похожее в письмах к Довлатову. Причем неважно, в какой роли старший, правильный и менее удачливый — огорченного друга или обличителя.

Вудхауз беседы прекратил и стал кое-как жить то в гостях, то в непристойно дорогом отеле, других и не было. Позже, во Франции, ему пришлось отчитаться во всех доходах, и видно, что жили они на гонорары за немецкие издания, а когда этого не хватало, Этель продавала брошку или браслет. Прежде, чем их судить, представим себе не наших обычных людей, а писателей или других «деятели искусств». Да, то была нацистская Германия; но и наши деятели жили страшно сказать при чем. Что гораздо важнее, то была страна, воевавшая с Англией — но судить об его патриотизме лучше тогда, когда увидишь, какой уютной, красивой и свободной предстает Англия в его книгах. О какой бы то ни было любви к нацизму и речи быть не может, он совершенно не выносил ничего авторитарного, не говоря уж о тоталитарном. А вот враждовать, особенно — на практике в обращении с людьми, он не умел и не хотел.

Осенью 1943 года Вудхаузов отпустили во Францию. В конце следующего лета Францию освободили. Вудхауз

знал, как ругают его соотечественники, и не очень удивился, когда к нему приставили офицера. Это был Малькольм Маггридж, позже — редактор «Панча» и один из самых известных в мире журналистов. Намного позже, после смерти своего друга, он написал маленькие мемуары «Вудхауз в беде». Его поразило, как стойко тот переносит беды, особенно тяжелые потому, что именно тогда, в Англии, внезапно умерла Леонора.

Обвинить ни в чем подсудном Вудхауза не смогли, но домой он не вернулся. Они с Этель уехали в Америку, и с 1952 г. — летом, а с 1955 — все время жили на Лонг-Айленде, в местечке Резембург. Там Пэлем Грэнвил написал много новых книг, среди которых — такие шедевры, как «Дядя Динамит» и «Девушка в голубом». Что творилось у него в душе, немного приоткрывается, когда Маггридж пишет ему о мрачных прогнозах (кажется, Римского клуба), а он отвечает ему примерно: «Бог с ним, с человечеством, сил от него нет», Больше таких признаний он не делал, храня неизменную верность застенчивой приветливости.

Больше двадцати лет они жили в этом местечке, ухаживали за садом, кормили домашних и бродячих зверей — когда приехал Ллойд-Уэббер, открыла двери Этель с блюдом куриных ножек для окрестной фауны. Тем временем в Англии член парламента от консерваторов Иэн Спраут, вслед за Маггриджем, но с большими возможностями, решил раскопать строго хранимые материалы. До конца он дошел только в 1980-м — и увидел, что нет буквально ничего, только какой-то совершенно невинный список. Однако помочь Вудхаузу он успел. Благодаря его стараниям, тот был посвящен в рыцари, стал «сэром», к Новому, 1975 году.

Через полтора месяца он умер, очень тихо, быстро, после визита Этель. Перед самой смертью он писал «Закат в Бландинге», десятый роман о лорде Эмсворте.

Прошло еще двадцать лет, стали мы его издавать. В 20-х годах было несколько книжечек, но издавали их частные издательства, и накануне 30-х их закрыли, а его — обругали, назвав, среди прочего, «прославленным идеологом бессмыслицы». Теперь он снова появился в России. Англичане искренне обрадовались, очень уж они его любят, и даже сочли это «верным знаком того, что коммунизм умер». Как у кого, это уже дело сердец или душ, но лечить от мрачных дикостей советского сознания немудрящий сэр Пэлем может очень хорошо. Прежде всего, он не учит, не назидает; мало того — он, что исключительно для классика, не предлагает задуматься. Слово музыка или запах, он просто пропитывает нас ощущением свободы, уюта, благодарности, чистоты. Знаменитый писатель и ветеринар Хэрриот так любил его, что отрывки из Вудхауза читали на его похоронах, и кто-то объяснил при этом, что оба они дают отдохнуть от жестокости и непристойности. Ведь у нас как? Хочешь отшатнуться от постылых прописей, принимай «чернуху и порнуху». А здесь — ни того, ни другого.

Кроме этого, он с одной стороны напоминает нам о тончайшей, ювелирной тонкости письма, а с другой — совершенно ни на что не претендует. Очень целебно, а то мы работать не умеем, относиться же к себе всерьез — умеем вполне. Если кому-то он понадобился только как немые фильмы про Глупышкина, тут ничего не поделаешь; хотя зачем тогда именно он, таких книжек очень много? Если же индукция сработает, как это нам кстати!

Однако сейчас я делаю то, что несколько лет назад справедливо заметил Григорий Шалвович Чхартишвили. Написала я к двадцатипятилетию смерти Вудхауза большую статью, где постоянно повторяла: «Хорошо, что он не проповедует». А Григорий Шалвович резонно сказал, что статья эта — именно проповедь. Поэтому остановлюсь, запоздало предоставив читателю судить самому.

6. Сэр Пэлем

Трудно (но хотелось бы) передать, как уместен сейчас Вудхауз. Ивлин Во, пылко его защищавший, писал, что именно этот писатель будет «спасать грядущие поколения от неволи, еще худшей, чем наша».

Конечно, мы — поколение «грядущее» и живем куда хуже, чем англичане 50-х годов. Однако грех говорить, что времена — совсем ужасные. Даже за мои семьдесят с лишним лет я пережила несопоставимо худшие. Другое дело, что сейчас нужно желание смотреть даже не «вверх», а хотя бы не вниз, тогда как для тех, прежних, нужно было скорее какое-то нечеловеческое, даже сомнительное терпение. И вот, именно это желание Вудхауз поддерживает. Как и Диккенс, он напоминает, что жизнь не сводится к тьме, злобе и распутству — именно напоминает, а не выдумывает. Как Диккенс, он показывает нам то, что есть в каждой душе, в каждой семье, хотя бы — у каждого ребенка. Когда эти пласты преподносили в ядовито-засахаренном виде, им почему-то верили, даже теперь умиляются советским добродетельным картинам

(часто — и впрямь умилительным, но уж полным утопией!). Когда этих пластов не преподносят вообще, многие их не видят: нет нерасчетливых поступков, нет кротких и нелепых людей, нет ничего красивого, скажем — зверей или цветов; нету — и все. У Вудхауза это есть. Конечно, ему легче было так писать. Однако самые трогательные и смешные книги — «Полная луна», «Дядя Динамит», «Деньги в банке» — он печатал на старенькой, чужой машинке в немецком лагере для гражданских лиц.

Быть может, помогли его очень английские свойства — несерьезное отношение к себе, джентльменская стойкость, не позволяющая огорчать других, детская благодарность за все хорошее. Там, в лагере, хорошими оказались «гражданские лица». Одного из них он попробовал сделать героем новой саги про лорда Аффенгема.

Такой идиллией мы все-таки не кончим. Тот же Честертон пишет об «отвратительном оптимизме за чужой счет». В падшем, реальном мире всегда есть положения, когда беззаботность — кощунственна. Лучше вообще не читать и не знать Вудхауза, чем навязывать его тем, кому действительно плохо. Я, например, не могла читать его в начале 50-х годов или в начале 80-х. Зато в другие годы, начиная с 1946-го, он спасал не меня одну. Мало того, он делал людей лучше. Я знала человека, у которого лет тридцать подряд только и оставалось хорошего, что любовь к Вудхаузу; а незадолго до смерти вернулось остальное. Конечно, Вудхаузом может восхититься и человек с выжженной душой, но не думаю, что он его всерьез полюбит. Зато для тех, кто хоть как-то еще может «умалиться», книги его — истинный подарок.

7. Еще о Вудхаузе

Кончается век, что-то происходит с литературой. Не знаю, как у кого, но у меня нет то ли душевных сил, то ли времени, то ли терпения, чтобы читать многоумных кумиров, которых сейчас называют лучшими писателями столетия. Называют — а читают ли? Вот Григорий Чхартишвили говорит в интервью о Честертоне, вот Борис Парамонов рассуждает о «тихих» писателях, и вспоминаешь, что сам Честертон писал о Диккенсе. Люди, видимо, устали от взрослой и важной словесности, а словесность как бы детская, все эти игры ради игр, все-равно оказывается важной. Значит, как и предвидел Честертон, людей намного больше, чем снобов; поэты же явно мечтают о том, о чём Тимур Кибиров прямо и пишет:

*Только детские книжки читать!
Нет, буквально — не «Аду» с «Улиссом»
а, к примеру: «Волшебную зиму
в Мумми-доле»... А если б ещё и писать!...*

Компьютер тем временем доставляет новые и новые свидетельства о славе сэра Пэлема. Королева-матушка, старая Елизавета, трогательная и толстая любимица англичан, получила новый сорт маленьких роз, названных в честь Вудхауза, а заодно стала почётным председателем его общества. Узнав, что мы издаём его, люди пишут из Техаса, не говоря о других местах Америки и Англии. Летом будет паломничество по «Вудхаузовским местам», причём празднуют благоговейные британцы эту самую четверть

века с его смерти, но летом, чтобы всем было удобнее. Неужели и впрямь можно увидеть райские сады Шропшира и улицы Лондона, где ходили Бerti, Ронни, Монти, у которых хватало мудрости, чтобы узнать рай и там? Школу в Далидже я видела, но в ней никого не было — я ездила в Англию поздним летом, потому что столетие Льюиса тоже праздновали так, чтобы всем было удобно.

8. Послесловие к роману «Билл Завоеватель»

Недалеко от Лондона, в селеньице Грейт Миссенден, живет Тони Ринг, редактор журнала «Вустер соус». В саду у него растет невысокий кустик, розы на котором примерно того же цвета, что сливы. Их вывели недавно голландцы, назвали в честь Вудхауза «Пламя» (что и значит «слива») и преподнесли королеве-матери, почетной покровительнице Вудхаузовских обществ.

Вудхауза называли Пламем по созвучию с его именем «Пэлем», которое, кстати, русские романтики и даже Пушкин читали как «Пелам», видя в нем истинный образ английского рыцарства. Журнал, издаваемый Тони Рингом, печатает генеалогические таблицы, доказывающие свойство столетней Елизаветы с ее любимым писателем. Действительно, линии их пересекаются дважды¹. Прибавим, что род Вудхауза связан и с Ферморами, которые вошли в историю России. Читая все это, понево-

¹ Конечно, через мужа, Георга V. Элизабет Боул-Лайонз в лучшем случае — дочь шотландского герцога.

ле вспомнишь слова Честертона о том, что англичане не пресмыкаются перед знатью, а умиляются ей, играют в нее. Жизнь лордов и баронетов для них — вроде сказки.

Собственно, Вудхауз и создавал едва ли не лучшую сказу об английской знати. Берти Вустер, чья фамилия обыграна в названии журнала — не дурак и бездельник, как могло бы показаться, а безупречнейший рыцарь. Герой другой саги, граф Эмсвортский — старый ребенок, благоговейно почитающий свою свинью Императрицу. Живет он в старинном замке, окруженном поистине райским парком, и, до появления прекрасной свиньи, больше всего любил цветы. Берти и многие его друзья живут в Лондоне, который тоже по-детски прекрасен. Вроде бы, так оно и есть, но ведь этот самый город видел молодой Элиот, писавший «Бесплодную землю». О писателях и поэтах, вообще видевших только мерзость или ужасы, я и не говорю.

Мы часто думаем, что теперь еще больше, чем всегда, людей, живущих одним отчаянием; однако Вудхауза любит столько народу, что поневоле оспоришь эту невеселую мысль. Англичане мгновенно расцветают при звуке его имени. Совсем недавно, в Оксфорде, один серьезный ученый вообще-то — богослов, напомнил собеседникам, что Хилер Беллок в 30-х годах назвал Вудхауза «Лучшим из нас, мастером нашего цеха», а собеседники (в том числе я) предположили, что он таким и остался.

Здесь сделаем маленькое отступление.

Летом 1936 года — того года, когда умер Георг V — в одной из привилегированных английских школ произошел странный случай. В комнату, где учили уроки

высокородные мальчики, вбежал учитель словесности и сказал: «Умер Честертон. Теперь наш лучший писатель — Вудхауз».

Тогда были живы и писали Шоу, Уэллс, Моэм; еще не состарился Пристли. Кто повысоколобее, предпочитал им Хаксли, Элиота или Вирджинию Вульф. Кто поскромнее, радовался книгам Агаты Кристи или Дороти Сэйерс, еще не открывшей читателям, что она — христианский проповедник. Литература в Англии, как всегда, была на очень высоком уровне. Но просвещенный Т.Х. Уайт, автор хороших книг о литературе, сказал именно так, и его ученик, будущий сэр Иэн Монкриф, это запомнил.

Ровно через 60 лет, в июне 1996, голландцы прислали английской королеве-матери розу, о которой мы говорили. Судя по всему, этот смешной и скромный писатель устареть не может, как не может состариться герой сказки. Все-таки мы, люди, лучше, чем кажется, и больше похожи на детей. Вудхауз как-то писал:

*Вам нравится моя мура?
Ура! Ура! Ура! Ура!*

Действительно, «ура». Моды меняются, цинизм и жестокость открывают в тысячный раз, а множеству англичан и американцев хочется читать книги простодушного писателя, который, по свидетельству Джорджа Оруэлла, не умел ненавидеть.

Многим покажется, что и Честертон, и Вудхауза как-то стыдно любить. Ну, что это, большие дети, живут в идиллическом мире! Вроде бы их и не любят — вспоми-

ная в прошлом году о литературе уходящего века, самые известные критики и писатели нашей страны снова и снова называли среди лучших Пруста, Джойса, Борхеса, а об этих не вспомнил никто. Но, буквально в то же время, Честертон и Вудхауз только и успеваешь готовить для самых разных издательств.

Людей потянуло к «таким» книгам не потому что эти книги врут, а потому, что они говорят нам очень важную правду. Неужели мы совсем не знаем той свободы и того уюта, которые описаны в тех главах «Билла», где Флик с собачкой нашли приют в Баттерси? Неужели мы никогда не видели таких комнат, улиц, кафе или садов? Даже в отвратительные десятилетия советской жизни это не всегда удавалось отравить и не удалось отнять.

Вудхауз испытал беду, сопоставимую с нашей. Мало того, что он попал в немецкий лагерь для гражданских лиц — когда он оттуда вышел, его травил англичане, не разобравшись в том, как и почему он несколько раз говорил по немецкому радио. Защищали его немногие — Ивлин Во, Дороти Сэйерс, Джордж Оруэлл. Страдал он так, что в Англию не вернулся, и всю остальную жизнь, до девяносто трех лет, жил на Лонг-Айленде. К самому концу несколько упорных людей, особенно — министр Иэн Спраут, позже написавший об этом замечательную книгу, добились не только полного оправдания, но и того, что за полтора месяца до смерти Вудхауз стал «сэром», то есть был посвящен в рыцари, как первый из его известных нам предков в XI веке.

Поистине, зло — рассыпается, добро — воскресает.

Вудхауз был очень хорошим человеком. Друзья свидетельствовали, что он не умел ненавидеть людей. В от-

личие от Честертона, он не боролся с идеями, хотя сумел бесподобно изобразить и фашиста (в саге о Дживсе и Вустере) и социалистов (в рассказе «Арчибальд и мас-сы»). Но вообще оба эти писателя не по писательски чисты, добры и смиренны. Часто считают, что тогда и писать не надо, ты обречен на неудачу; однако, как они и думали, мир все-таки не настолько плох. Точнее было бы сказать, что дело не в мире, а в Боге, но неофитский новояз почти перекрыл такую возможность.

Сейчас, на границе тысячелетий, в конце очень страшного века, снова понадобились книги, в которых сад — это рай, город — место нелепых, веселых приключений, смешны и трогательны — очень многие, а осудить (и то не лишив смеха и жалости) можно только важных и властных. От вульгарности книги эти защищены добротой и чистотой, от назидательности — смехом. О духовном их здоровье неловко и говорить, все из-за того же новояза, но мы ведь очень больны, и очень нуждаемся в исцелении. Слава Богу, среди нас, кажется, много собак и кошек, выискивающих нужную траву.

Теперь о романе, который вы прочитали. Считается, что именно он открывает «золотую эру» Вудхауза, продолжавшуюся тридцать лет. Писать он начал в самом начале XX века, но явно выделился из английских юмористов только к середине 10-х годов. Примерно десять лет, до «Билла», он был уже очень знаменитым, и к этим годам относятся такие шедевры, как «Что-нибудь этакое», «Джим с Пикадилли», «Стремительный Сэм» или «Дева в беде». Не знаю, чем они хуже «Билла», но «золотую эру» обычно начинают с него. После 1955 года. Вудхауз

написал «Рад служить», «Дядю Динамита», «Пеликана в Бландинге», «Девуцу в голубом» — книги совершенно дивные. Рада сказать, что все они изданы по-русски в «Остожье» и в некоторых других издательствах Видимо, золотое тридцатилетие отличается тем, что слабых романов там почти нет (до или после их немало).

Лорд Тилбери появляется в «Стремительном Сэме», и участвует потом, кроме «Билла», в романах «Задохнуться можно», «Рад служить». «Замороженные деньги» (все есть по-русски). Прототип его — лорд Нордкилф, один из самых крупных газетных магнатов, создатель «желтой прессы». Интересно, что титул свой он берет от названия улицы, а в роду Вудхаузов действительно были Тилбери. Знал об этом сэр Пэлем или не знал, выяснить нелегко.

Герои книги — Билл, Флик, оба дяди — больше у Вудхауза не встречаются. Обычно любимые персонажи переходят у него из книги в книгу, но здесь почему-то он их бросил, хотя несомненно любил. Флик, кстати сказать, напоминала ему любимую падчерицу.

Баттерси — район на южном берегу Темзы — сейчас стал намного хуже, там появились очень высокие дома. Но парк никуда не денешь, а скромность и уют, которые привлекли туда в самом начале века только что женившегося Честертона, найти все еще можно. Наверное, читатель захочет узнать, был ли женат Вудхауз. Да, был, и очень счастливо. Как и у Честертона, у него не было детей, но он считал дочерью упомянутую падчерицу. Позже она вышла замуж за человека по фамилии Казалет. Члены этого рода как-то связаны с Россией. Жена Вудхауза, Этель, жила еще дольше, чем он, и ему посчастли-

вилось умереть в Валентинов день, сразу после ее ухода из больницы. Он сел в кресло, набил трубку — и врач, заглянув в палату, понял, что он мертв.

9. Иэн Спраут и дело Вудхауза

Каждые два года, в середине октября, некоторые англичане собираются на званый обед, вспоминая тем самым, что 15.X.1881 года родился Пэлем Гренвил Вудхауз. В 2000 году они собрались в таком исторически прославленном месте, как ГрейзИнн. Столетняя королева-мать, покровительница вудхаузовского общества, прислала поздравление. Пэры, сэры и просто люди пили за её здоровье. Из пэров в общество входил лорд Ллойд-Уэббер, написавший мюзикл «By Jeeves!», из сэров — сын падчерицы Вудхауза Эдвард Казалет, из остальных людей — Тони Блейр.

Когда Вудхауз умер (14 февраля 1975 г.), всё это было бы невозможно. Правда, за полтора месяца до смерти он сам стал сэром — королева к Новому году посвятила его в рыцари, — но смутная память о его позоре не позволила бы создать общество и устраивать такие торжества. Больше двадцати лет он прожил в Америке, больше десяти лет до этого — тоже не в Англии. Дело в том, что давно, в самом начале этих долгих лет, он оказался в гитлеровской Германии и несколько раз выступил там по радио. Его обвинили в предательстве, он очень тяжело это принял и в Англию не вернулся. Когда негодование пошло на убыль, ему бы не мешали приехать, но он бы там жить не смог.

Конечно, читали его всегда, и многие — очень любили, но шумная, явная, огромная слава в те годы притихла. Теперь она полностью вернулась. Выходит прелестный журнал «Вустерский соус», собирается Вудхаузовское общество, есть особый сорт роз, которому сумели придать оттенок синеватой сливы в честь его прозвища «Plum». Может быть, всё изменилось бы и так — англичане отходчивы, но знать наверняка мы не можем; зато знаем, что окончательно добился правды совершенно определённый человек, Иэн Спраут, который был членом парламента, а одно время — министром культуры в кабинете Маргарет Тэтчер. Преодолевая предрассудки и бюрократическое сопротивление, он собрал все документы и раскопал свидетельства. Если бы не это, королева не даровала бы Вудхаузу рыцарского звания, во всяком случае — не успела бы дать его, как в сказке или вудхаузовском романе, перед самой его смертью.

Когда Вудхауз уже умер, Иэн Спраут издал книгу о его деле (*Ian Sprout, «Wodehouse at War»*) и своих разысканиях. Именно о разысканиях, о себе он почти совсем не пишет. Читая, поневоле думаешь, что это — ещё один рассказ об отце Брауне, который скрупулёзно восстанавливает чьё-то доброе имя, вникая в то, что мог сделать именно этот человек, а чего он сделать не мог.

Долгое и печальное дело началось с того, что летом 1940 года, когда немцы так быстро заняли Францию, Вудхауз с женой жили именно там, на самом Севере, в курортном городке ЛеТукэ, где незадолго до этого купили дом. Тихий, работающий Плам вообще старался сбегать из Лондона, хотя очень его любил.

В Англии сразу узнали, что в ЛеТукэ пришли немцы, и больше ничего толком о Вудхаузе не слышали. Потом, когда уже разгорелись страсти, многие заверяли, что он немцев приветствовал, с ними ладил и вообще остался намеренно. На самом деле, у него забрали дом, а самого вскоре отправили в лагерь для интернированных. Жене пришлось уехать и жить год под Лиллем с маленькой собачкой. Кстати, уехать заранее в Англию, от которой их отделял только канал, Вудхаузы никак не могли решить из-за своих животных. Надеюсь, больше народу умилитесь здесь, чем рассердитесь.

Что делал Вудхауз в силезском лагере, расположенном в бывшем сумасшедшем доме, тоже толком не знали, но его, конечно, жалели, пока не услышали через год, что он ведёт по берлинскому радио беседы для Америки, которая ещё сохраняла формальный нейтралитет. Узнали и то, что, перебравшись в Берлин, он живёт в хорошем отеле. Вскоре к нему приехала жена. Предваряя дальнейшее, скажем, что осенью 1943 года им разрешили уехать в Париж, куда 25 августа 1944 года пришли освободители.

Когда в Англии узнали о первой беседе, известный журналист Уильям Коннор, выступавший под именем «Кассандра», буквально прокричал по радио, что Вудхауз — предатель. Вслед за этим его назвали предателем Антони Иден (тогда — министр иностранных дел) и член парламента Квентин Хогг. Посыпались письма. Иэн Спраут нашёл и привёл в своей книге все до единого; здесь не хватит места их цитировать, и мы попытаемся обобщить. Обличительных — гораздо больше, и авторов нетрудно понять — никто ещё не забыл, как решалась

судьба страны в поразительной «битве за Британию». Мало того: было ясно, что решается судьба цивилизации или свободы или просто человеческой жизни. Да что там, понять их очень легко. И всё-таки, говорит апостол, «гнев человека не творит правды Божьей». Кроме естественного удивления и даже негодования, которыми полны эти письма, замечаешь всякие странности. Читая, к примеру, письмо Милна, слышишь какую-то давнюю досаду; например, он сетует на то, что Вудхаузу «и так слишком много разрешали». Некоторые возмущаются, что за несколько лет до этого «какому-то юмористу» дал докторскую степень Оксфордский колледж св. Магдалены. Шон О'Кейси брезгливо называет писателя дрессированной блохой (намного позже Вудхауз так озаглавил свои мемуары, прибавив, что не видит в такой блохе ничего плохого). Наконец, иногда о нём пишут почти теми же словами, какими писали у нас в конце 20х годов, когда его книги называли «литературой жирных». Его обвиняют в любви к роскоши, причём, совсем уж в нашем стиле, «буржуйское» отождествляется с «фашистским». Вот, например: «Откройте любую книжку Вудхауза, и вы увидите, что она кишит людьми, которые в жизни не работали. У них есть деньги, им скучно — прекрасная почва для фашизма... персонажи его [...] по сути своей не демократичны, не прогрессивны, реакционны». Негодование понять можно, но мысль (если это мысль) — совершенно неверна. Трудно найти более свободных и приветливых людей, чем любимые герои Вудхауза.

К счастью и чести англичан, нашлись люди, которые, страдая из-за этих передач, не считают нужным при-

плетать к ним, по законам травли, какие-то былые провинности. Несколько человек пытается снять с Вудхауза необоснованные обвинения. Один доказывает, что он не мошенничал с налогами; другой удивляется, что, называя его «пустым и поверхностным человеком», от него ждут «совершенно несокрушимого, стоического поведения, после того, как он побыл в немецком лагере». Третий напоминает, как трудно и опасно судить со стороны, не узнав всех мотивов и обстоятельств. Так возникает тема, которая лучше всего выражена во фразе: «Уверены ли праведные коллеги Плама Вудхауза, что они не поддались бы искушению?». Небольшое письмо Монктона Хоффа (я не знаю, кто это) кончается словами: «А ну-ка, бросим в него камень!» Лорд Ньюборо, «старый друг и почитатель» Вудхауза, объясняет, что «Пламми» (он так и пишет, в кавычках) вообще «не касаются земные дела»; о его детской наивности говорит и Дороти Сэйерс. Наконец, есть удивительное письмо с подписью «Беспристрастный». Автор — как ни странно, со знанием дела, словно был рядом, опровергает многочисленные неточности. Он пишет, что Вудхауз отказался в лагере от каких бы то ни было привилегий и жил в палате на 60 человек; что выпустили его без всякой связи с передачами; что деньги у него были не от властей, а от немецких и американских издательств.

Подумайте, как это важно и мужественно. Автор решил защитить человека, которого, что ни говори, именно травлили. Очень хорошо, что у людей бывает такой порыв. Помню, как именно в Англии, в Оксфорде, спорили о российском законе, связанном со свободой совести, и

кто-то заметил, что надо же как-то защищать православие от католиков. Тогда православный епископ Бэзил Осборн встал и предложил отложить эту тему до того случая, когда среди нас будут католики, которые смогут ответить. Судя по реакции (скорее — приятно удивлённой) даже в Оксфорде такое бывает не часто. Уточню: речь не о том, чтобы защищать «своего», это всюду принято, но о том, как сохранить, а если не было — как воспитать это внимание к чужой чести. Чего тут больше, тяги к правде или тяги к милости? Наверное, есть и то, и это.

Сам Вудхауз ответить на обвинения не мог, более того — он ничего о них не знал, в Берлине английских газет не было. Когда же узнал от приехавшей к нему жены, то страшно растерялся. Все последующие годы, горько ругая себя за глупость, он повторял одно и то же: ему писали многие американцы, и он хотел поблагодарить, а главное, подбодрить всех сразу — смотрите, мы как-то тут всё-таки живём. Если не понять таких объяснений, нам в его деле не разобраться. Однако понять их трудно, очень уж мы в этом отношении отличаемся от Англии.

Там — есть, а у нас — бывает редко удобный для окружающих императив поведения, который они называют «stiff upper lip» («держат себя в руках, не распускаться»). Он удобен, но небезопасен: легко презирать тех, кто его не соблюдает или просто сорвался; ведь это позволяет собой гордиться, а других — стыдить. Собственно, как и всякий императив, применять его надо только к себе. Вудхауз к себе и применял. Он считал неделикатным обременять людей своими горестями, мало того — хотел ободрить и утешить их. После Освобождения, во

Франции к ним с женой приставили майора Маггриджа, который в мирной жизни был журналистом, а позже — очень прославился. После смерти Вудхауза он опубликовал очерк «Вудхауз в беде», где восхищался выдержкой своего поднадзорного. Тот страдал исключительно сильно, но никого этим не обременял, даже старался подбодрить своего стража, от которого, ко всему прочему, узнал о внезапной смерти любимой падчерицы.

Англичане тем временем рассуждали, надо ли Вудхауза судить, и в конце концов решили, что вменить ему в вину можно только пользование аппаратурой противника. Когда это выяснилось, Вудхаузы переехали в Америку, пожили в Нью-Йорке и купили дом на Лонг-Айленде, где провели ещё четверть века. Такие деревушки с удобствами Вудхауз очень любил; во многих его романах описан райский пригород Лондона, ВэллиФилдз — опозитизированный Далидж, где он когда-то учился. Его отличители не правы, над роскошью он скорее смеялся, а искал уюта и удобства в каком-нибудь тихом, маленьком, скромном месте. Стоиком он и в этом отношении не был. Кто решится его упрекнуть?

Негодование понемногу стихало. Серию статей в защиту Вудхауза написал, через несколько лет после скандала, Ивлин Во; наверное, они в какой-то мере подействовали. Его линия защиты несложна и, на мой взгляд, справедлива. Он считает, что сила и прелесть вудхаузовских книг — именно в том, что тот остался ребёнком. Если кому-то противно, что человек сохранил детское восприятие мира, Вудхауза можно не читать, но не стоит и о нём судить.

Прежде чем перейти к тому, как Иэн Спраут снял одно за другим несправедливые обвинения, надо поговорить о самом главном. Конечно, Вудхауз героем не был. Дело тут не столько в малодушии (хотя кто знает, свойственно оно вам или нет, пока не случится проверить себя), сколько в свойстве, которое многим очень не нравится. Оно почти всех задевает и даже раздражает. Так, Хилер Беллок жаловался, что Честертон «слишком хорошо ладит с врагом», не догадываясь, что его толстый и кроткий друг, чётко разделяя спор и ссору, считал тех, с кем спорил, не врагами, а оппонентами. Очень хорошо говорит об этом свойстве Александр Генис в книге о Довлатове: «Со своим автором он [Гринёв] делит черту, изза которой, как считает Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы — “ненадёжность вражды”. Драма Гринёва в том, что, не поступившись своею, он способен понять — и принять другую точку зрения».

Конечно, свойство это — не однородное. Честертон, например, мог понять то, что называл ересью, но не принять. Очень может быть, что Вудхауз, прежде всего видевший человека, вообще о точках зрения не думал — но как бы он тогда писал своих грозных леди и склочных джентльменов? Нетрудно быть добродушным от равнодушия, но это бы заметили, а о нём пишут иначе: скромный, незлобивый, застенчивый, приветливый, благожелательный. Когда они с Этель ещё жили в ЛеТукэ, она обычно сидела с гостями, а он работал, но время от времени заглядывал и спрашивал: «Как, всем хорошо?» Таких свидетельств очень много.

Прибавим ещё несколько соображений. Раньше, чем читатель почти инстинктивно воскликнет: «Но это же

гитлеровская Германия!», стоит подумать о том, о чём напомнила Дороти Сейэрс: ни Вудхауз, ни другие англичане ещё не знали самого страшного. Ей поверить можно, она все тяжёлые годы выступала по радио у себя, в Англии, необычайно пылко, и для неё Гитлер (если вспомнить слова Честертона) был поистине хуже Ирода. Чутьё у неё несопоставимо сильнее, чем у Вудхауза, но и она признаётся, что многого не знала.

Однако было чутьё и у него, только касалось оно не живых людей, а некоего духа или воплощавших этот дух мнимых, выдуманных персонажей. Может быть, одно из самых детских (не подростковых!) свойств Вудхауза — искренняя нелюбовь к сильным, агрессивным, важным. Именно он создал Спода, главу английских фашистов. Даже у Хаксли, в «Контрапункте», похожий персонаж неоднозначен, а у Вудхауза — напыщенный злой дурак. Заметим, это — фашист, вроде сэра Освальда Мосли. Тогда «фашистов» и «нацистов» различали, и некоторые, далеко не тупые люди — скажем, тот же Ивлин Во — склонялись к тому, что Муссолини всё же лучше «Советов», мало того — лучше тогдашней английской демократии. Тема эта — исключительно важная, и если кто захочет к ней вернуться, мы охотно это сделаем. Однако сейчас и здесь для нас существенно, что Вудхауз такими сомнениями не грешил. Как и для Дороти Сэйерс, для него «оба хуже»: и весь спектр нацизма-фашизма-фалангизма, и коммунисты (вспомним его «диктатуру пролетариата» в рассказе «Арчибалд и массы»). Мучают людей, лезут к ним, лишают свободы — и всё, это очень плохо. Совсем другое дело, что живой человек, даже обижавший

его лично, оставался для него живым человеком. Законченных злодеев и законченных злодейств ему увидеть не пришлось, поэтому бессмысленно гадать, что бы он тогда сделал. Очень может быть, что жалость к жертве победила бы сочувствие палачу. Именно с кроткими, мирными людьми такое нередко бывает.

Теперь – конкретные обвинения и конкретные свидетельства. Все они в книге Иэна Спраута подкреплены документами.

Никакого сговора не было. Выпустили Вудхауза из лагеря по двум причинам. В том году, осенью, ему исполнилось 60 лет, а Германия, как ни странно, Женевскую конвенцию соблюдала. Правда, вышел он на несколько месяцев раньше, но выпустили сразу несколько человек, вероятно — по году рождения, а кроме того немцы хотели поспекулировать на его славе, предполагая почему-то, что он играет в Англии чуть ли не роль Гёте (именно Гёте, так кто-то и сказал). Словом, выходя из лагеря, Вудхауз о предстоящих радиобеседах не знал.

Когда он приехал в Берлин, гостиницы были переполнены. В отель его пристроил старый приятель по Голливуду. Тогда особой роскоши там не было, а если для иных гостей и была, Вудхаузы в их число не входили. Жили они скромно, брали на ужин хлеб из ресторана, маленький мясной рацион отдавали собачке. Сравнить их быт стоило бы не с бытом наших людей в очередях и коммуналках (теплушку он испытал), а с привилегиями и удобствами тех, кого Андрей Семёнович Немзер назвал «прикормленной верхушкой». Подростком я эту жизнь знала, и думаю, что двум старым англичанам

приходилось хуже. Точнее – и хуже, и лучше. Они жили скуднее, в чужой стране, да ещё при мерзком режиме. Не обсуждая сравнительные свойства режимов, заметим только, что от них не требовали «сознательности», да и вообще какого-либо вранья; и в этом им было лучше. Вудхауз писал, что хотел, и вот что удивительно: он настолько сумел уйти от злобы и страха, что создал свои лучшие идиллии – «Радость поутру» и «Полную луну», а чуть позже — «Дядю Динамита».

Оставались Вудхаузы в отеле только зимой, прочее время гостили у друзей, правда — в замках, но топить там было нечем и к холодам приходилось возвращаться в город.

Денег они от немцев не получали. Иэн Спраут приводит перечень их доходов (о которых пришлось дать скрупулёзный отчёт в освобождённой Франции), и получается, что это гонорары. Кроме того, Этель Вудхауз продала какие-то драгоценности — ничего не поделаешь, они у неё были.

Что ещё важнее, ни во Франции, ни в Германии Вудхаузы ни в малейшей степени не дружили с властями. Немцы, поселившиеся в их французском доме, совершенно с ними не считались. Вудхауз рассказывает об этом в беседе, и не понять его может только исключительно простодушный человек, вроде корректора одного из наших отечественных изданий, наставившего вопросительных знаков везде, где, видимо, надо было пометить: «Шутка!»

В Германии, скажем снова, он встретил несколько (очень мало) старых друзей. Там же всё-таки люди

жили, а не одни нацисты! Кому-кому, а нам стыдно так однозначно представлять себе существование в одной из страшных утопий прошлого, слава Богу, века. Иэн Спраут разузнал всё, что мог, об этих его знакомых. Они оказались людьми исключительно достойными и много претерпевшими.

Есть и мелочи, скажем – обвинение в том, что Этель Вудхауз вела светскую жизнь. Нет, не вела. Она просто, в отличие от мужа, не была тихой. Когда она сердилась, скажем — на неудобства, она могла раскричаться и её слышали многие. Бедный Плам при этом очень смущался, а не кричал никогда. Всего не перескажешь, вот — главное. Ведь заметка — только предисловие к злосчастным беседам, которые публикуются ниже, а они либо тронут читателя, либо нет. Сам Вудхауз много раз ругал себя; мало того — через годы, в Америке, он обрадовался приезду «Кассандры», позвал его в гости и совершенно покори́л. Это очень важно — гораздо чаще люди полностью себя оправдывают, а то и ставят в пример, а уж врагов никак не прощают. Судить его вправе только тот, кто был на его месте. В каком-то смысле мы – были, в каком-то — не были, и ровно в этих рамках можем представлять, как бы мы себя вели. Однако тема эта проста только для тех, кто разрешил себе делить мир на чужих и своих или на плохих и хороших, почему-то причислив к «хорошим» себя.

Тут мне и скажут: «То есть как? Вудхауз, пусть очень мало, но сотрудничал и сосуществовал с нацистами!» Чем вызван гнев — тем, что нацисты ужасны, как были они ужасны и раньше, или тем, что они в то время воева-

ли с Англией? Если причина — вторая, стоит вспомнить, что мы живём не в мифе и не в газетной статье. Люди в оккупации бывали не только старостами, но и врачами или, как аббат Сийес, «просто жили» (примеры есть в семье моей матери, и писать о них я вправе, поскольку ни семья отца, ни я сама просто не остались бы в живых). Англичане, которые в подобной ситуации не были, отпустили Вудхаузу его несчастный проступок, как отпустили и Уайльду, но интонация у них при этом — совсем другая, как будто вообще говорят другие люди. Жалеть Уайльда они стали сто лет назад, сразу после смерти; теперь — им восхищаются. Его порок больше не считают пороком, это скорее достоинство, так что о милости, о снисхождении нет и речи. Наверное, кто-то осуждает его без пощады, но там я таких людей не видела, зато увидела здесь — точнее, рассказывая о нём по радио, услышала и упрёки в жестокости, и упрёки в непозволительной мягкости.

Что до Вудхауза, таким, как мы, нелегко его простить. Нетрудно оправдать Уайльда, если им, в сущности, восхищаешься. Той слабостью или глупостью, которую допустил бедный Плам, восхититься невозможно. Его осудит со знакомой брезгливостью всякий, кто склонен смотреть на человека или снизу вверх, или сверху вниз. Накажут они самих себя — Вудхауза терять жалко: и низкая словесность, и какая-то уж очень высокая достаточно надоели, не говоря о том слое, где они беспрепятственно смешались; и многих тянет к детским книгам, даже средним, вроде «Гарри Поттера». А Вудхауз как раз и пишет детские книги, правда, никак не средние. Серди-

тый Беллок назвал его лучшим английским писателем в середине 30х — вспомним при этом, из кого он выбирал! Мы резонно устали от поучений, даже Честертон иногда раздражает; устали мы и от цинизма, но нередко думаем, что надо выбирать одно из двух. У Вудхауза нет ни того, ни другого: он безупречно лёгок и безупречно скромнен. Конечно, он учит — все писатели учат, но уж никак не прямо и не намеренно. Предпочесть его неисчислимому множеству английских юмористов может только тот, кто всё-таки хочет попасть в его мир, который Ивлин Во назвал идиллическим, но можно назвать и детским. Создал он этот мир потому, что так и не стал взрослым, а невзрослому человеку сложно жить среди правильных, серьёзных людей, которые так точно знают, чего бы они ни за что не сделали. Может быть, рассказ о деле Вудхауза поможет усомниться *в себе*, а тон его бесед вызовет не презрение, а глубокое почтение к незлобивому человеку, умевшему посмеяться над невыносимыми условиями. Он жалел других, даже врагов, но уж никак не страдал жалостью к себе, нашим любимым пороком.

Учитель надежды



1. Проповеди и притчи Гилберта Кийта Честертона

Больше тридцати лет прошло с тех пор, как вышла маленькая книжка — рассказы Честертона, переведенные на русский язык. За эти десятилетия изданы еще два сборника рассказов и книга эссе «Писатель в газете». Были и журнальные публикации. Недавно появился роман — «Человек, который был Четвергом», чуть раньше — небольшой трактат о Франциске Ассизском. Печатались и стихи¹.

Человек, заинтересовавшийся этими рассказами, эссе, романом, трактатом, знает уже, что Честертон — писатель очень известный и в Англии, и во всем мире, очень своеобразный, очень занимательный. Те, кому ближе всего рассказы, считают его мастером детектива; те, кому близки и другие жанры, знают из эссе, что он вправе называться мыслителем. Чаще всего полагают, что лучшее в нем — занятность, неожиданность, парадоксальность; худшее — некоторая назойливость и, главное, невероятность ситуаций. Однако темой особого эссе, еще лучше — рассказа, могло бы послужить до-

¹ Статья эта (предисловие к трехтомнику) написана в 1988 году.

вольно удивительное явление: именно то, что казалось у него совершенно немыслимым совсем недавно, сейчас кажется просто заметкой из газеты. Приведу немного примеров, интереснее находить их самим. В «Охотничьих рассказах» какие-то интеллигенты всячески стараются, чтобы крестьяне получили ферму и корову; там же — реку так загрязнили отходами завода, что герой судится с властями и, ничего не добившись, реку поджигает; в одном из сборников цикла об отце Брауне образованные люди слепо и охотно принимают любые, самые дикие суеверия. Надо ли еще? Видимо, невероятность его — относительна; не ради нее он пишет, не ради нее его читают, и не она мешает его читать¹.

О чем он пишет и ради чего, мы скажем дальше. Читая его, многие только развлекаются — это немало и очень полезно, особенно если они еще и радуются. Тогда большая часть предисловия не слишком нужна; можно ограничиться биографией и, вероятно, рассуждениями о рассказах брауновского цикла. Ничего недолжного здесь нет — Честертон писал так, что каждый находил в нем свое. Он был вполне согласен позабавить одних, в той или иной мере разбудить других, глубоко и серьезно воззвать к третьим.

Писал он очень много. Если собрать все, выйдет больше ста книг; одних эссе — около шести тысяч. Чес-

¹ Теперь, в 2005, примеры намного ярче: мусульмане в «Перелетном кабаке»: террористы в «Человеке, который был Четвергом»; переворот, похожий на карнавал — и в «Кабаке», и в «Охотничьих рассказах», и в «Наполеоне Ноттингхилльском».

тертон рассчитан на самые разные виды чтения. Нимало не возражая против сколь угодно легкого отношения к себе, делом своим он считал нравственную проповедь. Поэтому конец статьи мы посвятим тому, чтобы, расставив некоторые акценты, помочь читателям, которым важны именно эти его стороны.

Рассказать о жизни Честертона довольно легко — много документов, много и мифов. Однако сразу же встает проблема, которую мы решать не станем: документы и мифы далеко не всегда совпадают. Разница не только в том, что мифический Честертон не всегда похож на настоящего, — об этом мы как раз поговорим, да и что такое «настоящий»? Разница в том, что одни и те же события происходили постепенно, если судить по документам, и внезапно, если судить хотя бы по свидетельству самого Честертона. Он считал, что все самое важное происходит внезапно, и в «Автобиографии» говорил о том, что жизнь подобна не медленной, размеренной эволюции, «но ряду переворотов, в которых есть ужас чуда». Придется рассказывать и так, и так, то ли подправляя одно другим, то ли просто предоставляя читателю что-то выбрать или все совместить, как, видимо, в жизни и бывает — хотя бы в такой жизни, какой ее видел Честертон.

Родился он 29 мая 1874 года в семье потомственного дельца, который не столько занимался делами, сколько рисовал, издавал домашние книги, мастерил для детей кукольный театр. Эдвард Честертон был хорошим и умным человеком, Мэри, его жена — живой, практичной и довольно властной. У нее были шотландские и швей-

царские предки, у него — только английские. Старший их сын, Гилберт, жил в детстве очень счастливо. На миниатюре тех лет он — поистине маленький лорд Фаунтлерой; первые главы его «Автобиографии» повествуют о детском рае. Говорить он начал поздно, хорошо говорить — к пяти годам, когда родился его брат Сесил (тот научился говорить рано, и с тех пор они непрестанно спорили). В одном из поздних трактатов Честертон писал: «...чем выше существо, тем длиннее его детство» и называл это «всемирно известной истиной». Если истина к тому же верна, придется признать, что он был очень «высоким существом». Юность его в узком смысле слова тоже запоздала, а в широком — началась рано, зато кончилась только тогда, когда сменилась «вторым детством». Он часто называл себя отсталым, себя в отрочестве — тупицей, но передать трудно, какие хорошие статьи, письма, стихи этот тупица писал. Он был особенным — и намного сильнее, и намного слабее других.

Детство свое он любил, отрочество — нет. Казалось бы, такая хорошая школа, основанная в XVI веке, такой занятный директор, чья внешность подсказала облик Воскресенья из «Человека, который был Четвергом», клуб дебатов, прекрасные друзья, с которыми Честертон дружил до самой смерти. Однако детство для него — рай, светлый и уютный, отрочество — едва ли не ад, во всяком случае — место темное и неприятное. Учился он и хорошо, и плохо. Он получил премию за стихи вместе с теми, кто был на два класса старше (секретарь его, мисс Коллинз, говорит, что «получил» — это сильно сказано, потому что он вышел, постоял и вернулся, а премию ос-

тавил, и по рассеянности, и по застенчивости). Писал он много, иногда на удивление мудро, иногда — совсем по-детски. Школьное эссе о драконах очень похоже на то, что мы читаем в изданных сборниках. Средневекового дракона он сравнивает с «упившимся крокодиллом», а о новых, современных ему, говорит так: «Когда, читатель, ты встретишь его, в какой бы личине он ни был, взгляни на него смело и спаси хоть немногих из темной его пещеры. Пронесем копьё храбрых и чистый щит сквозь грохочущий бой турнира жизни и сразим роковым мечом яркий гребень обмана и неправды». Что он и делал всю жизнь.

Кроме словесности — верней, размышлений, которые он выражал в слове, — его не занимало ничего, и он просто не учился. Видимо, его любили, и это ему как-то сходило. Он утратил детское благообразие, вид у него был смешной, он толстел (начались какие-то эндокринные неполадки), а смешней всего было то, что он спал на ходу, спал и сидя. Главное же, он страдал. Юного Честертоня необычайно мучили и дух «конца века» — безнадежность, безверие, беззаконие, и то, что творилось в его собственной душе. Не мог он вытерпеть и несправедливости. Судя по одному из писем другу, он места себе не находил от того, что убили и арестовали нескольких русских студентов; а в самом начале гимназических лет он писал о том, что бедных и «простых» мальчиков непременно надо принимать в привилегированные школы, и не из милосердия, а по справедливости. Милосердие «сверху вниз» он ненавидел уже тогда. Слово «филантроп» так и осталось для него ругательством.

Такой вот мальчик — страдающий, справедливый, нелепый, — кончив в семнадцать лет свою привилегированную школу, напечатал первые стихи (плохие), в университет решил не поступать, а стал учиться живописи. Рисовал он очень хорошо. По его словам, в училище Слейда или работали день и ночь, или ничего не делали. Он не делал ничего, хотя тут миф и документы расходятся — может быть, что-то и делал. Во всяком случае, директор училища писал его родителям, что учить его бесполезно, можно только лишить своеобразия.

Училище он оставил через три года (1895). В середине 90-х годов он слушал от случая к случаю лекции о литературе в Лондонском университете. Страдал он по-прежнему. Он просто видеть не мог равнодушных и высокомерных людей, не верящих ни во что и над всем глумящихся. Многие считают, и сам он считал, что несколько долгих лет он бездельничал, едва не сошел с ума, погибал. Конечно, так оно и было, хотя от этих лет сохранились и хорошие статьи для издательств (как бы «внутренние рецензии»), и умные, здравые письма. И снова возникают два варианта того, что было одним из двух главных событий его жизни (второе — переход в католичество). Школьный друг, Люциан Олдершоу познакомил его с семьей Блогг, которая жила в Бедфорд-парке, Шафранном парке «Четверга». В одну из трех дочерей Олдершоу был влюблен, потом женился, а другую, Франсис, полюбил Честертон. Согласно собственному его рассказу, он увидел Бедфорд-парк с моста или виадука, издали, словно райское видение, и с этой минуты тьма сменилась светом, неприютность — тем особым

ощущением мира как уютного дома, которое он всю оставшуюся жизнь пытался передать другим.

Мать запретила ему жениться, пока у него не будет хотя бы скромного дохода. Отец практичным не был, верил в его поэтический дар и помог ему напечатать два сборника стихов. И миф, и документы свидетельствуют о довольно обычных полууспехах, полунеудачах; потом совершенно (и внезапно) побеждает возвышающая истина чуда: первый сборник эссе, «Защитник», принес ему на самой грани веков всеанглийскую славу.

В 1901 году Честертон женился. Жизнь свою он считал очень радостной и изо всех сил старался открыть эту радость читателям. Писал он много, ощущал себя журналистом, хотя эссе собирал в книжки, а с 1904 года стал публиковать романы и рассказы. Он действительно был профессиональным газетчиком, а жил так, что миф создавался сам собой. Франсис позаботилась об его внешнем виде — на нем все торчало, все сидело криво, и она изобрела для него почти маскарадный костюм, широкий черный плащ и широкополую черную шляпу. Высоты и толщины он был такой, что его прозвали человеком-горою, как лилипуты — Гулливера. У него было детское лицо, светлые детские глаза, пенсне всегда съезжало, он на все натыкался, писал в кофейнях, в кебе, на углу, стоя у стены. Лет десять он почти все время пребывал на улице газетчиков, Флит-стрит. Там он спорил, работал и много пил, не с горя (такое питье он порицал) и даже не «от радости», а как бы по рассеянности, для беседы. Квартиру, где они с Франсис жили, он тем не менее очень любил, он любил все свои дома и считал дом луч-

шим и священнейшим местом на свете. Из одних окон были видны река и парк, из других — крыши, и он, одухотворивший город, как Адам Уэйн в «Наполеоне Ноттингхилльском», больше любил этот, второй вид.

Издав уже два сборника эссе, напечатав много статей в газетах, он написал свой первый роман. Ему было тридцать лет. По довольно устойчивому преданию, как-то раз они с Франсис обнаружили, что в доме — всего десять шиллингов. Он отправился на Флит-стрит, пообедал как можно лучше, выпил бутылку вина и явился к издателю. Рассказав о приключениях человека, защищающего старую маленькую улочку в далеких 80-х годах XX века, он прибавил, что писать не станет, пока не получит двадцать фунтов. Получил их — хотя издатель упирался, роман написал и не заметил, что заплатили ему потом неправдоподобно мало.

Первые десять лет брака и писательской славы были очень счастливыми; так думали все, так думал он сам, хотя и позже считал свою жизнь незаслуженно счастливой. Но вспоминают и о том, что уже тогда у него было как бы два облика — молодого, веселого человека и человека едва ли не старого, не только из-за толщины. Уже тогда, пусть очень немногие, заметили в нем ту глубину, благодаря которой глубочайшие люди века намного позже увидели в нем пророка и мудреца.

В 1909 году Франсис увезла его в селенье Биконсфилд. Тогда же, в эссе «Тайна плюща», он писал, что теперь всегда будет видеть только «Лондон, мощный золотом», словно, как Инносент Смит («Жив-человек»), покинувший дом, чтобы больше любить его, только для того и

уехал. Это правда; но правда и то, что Франсис боялась, как бы он не спился и вконец не обнищал на Флит-стрит. Больше он в Лондоне не жил. Дом его и сад в Биконсфилде очень хороши, но город он любил больше.

Событий в его жизни мало, по мифу — исключительно мало. О книгах скажем после, а так — он тяжело болел в начале войны; в 20-х и 30-х годах ездил в Италию, где бывал и в детстве, в Польшу, в Палестину, в Америку. Во Францию он ездил часто, поехал и весной 1936 года, вернулся, слег и понял, что умирает. Болел он недолго, смерти не боялся. Когда Франсис и Дороти Коллинз, которую бездетные Честертонь считали приемной дочерью, в очередной раз к нему зашли, он очнулся от забывтья, ласково с ними поздоровался и спокойно умер.

Было это 14 июня 1936 года. Заупокойная служба в соборе прошла торжественно, из Ватикана прислали соболезнования, и будущий папа Пий XII от имени Пия XI назвал Честертоня «Защитником веры». Вроде бы на свой лад огорчились и любимые им «обычные люди». Услышав об его смерти, парикмахер сказал: «Неужели наш Честертон?» — может быть, потому, что пять лет слушал по радио его беседы. Однако посмертная его судьба становилась все более странной; но тут нам надо вернуться назад, к годам, когда он был сравнительно молод.

Один исследователь заметил, что, если бы Честертон умер сорока лет, когда тяжело болел, ничего бы не изменилось. Да, пять романов он уже написал, вернее — пять с половиной из шести; ранние рассказы о Брауне, особенно первый сборник — лучшие; всё, чем он хорош — рыцарственный вызов злу, благодарная любовь к прос-

тым вещам, надежда — проповедано к тому времени много раз. Так это или не так, но десятилетия века, или вторая их половина, или сама болезнь стали для него переломными; можно сказать, что он и впрямь умер. Заметили это не сразу, многие и не заметили, но веселый любимец Англии превратился в кого-то другого. Легендарный «Честертон-пивная кружка» (так называли его, припоминая старинные кружки в виде веселого толстяка) все больше ощущается как личина, нередко — раздражающая, и все виднее другой — разочаровавшийся в честной политике, потерявший брата на войне, из последних сил тащивший его газету, глубоко верующий. Мир 20-х и 30-х годов отторгает его, он — чужой. Он не старый — пятьдесят лет, шестьдесят — но какой старомодный! Критик Роналд Нокс писал, что в 1922 году, став католиком, Честертон нашел приют, наконец, в «детской Господа Бога». Конечно; но там, где детской этой не замечали, он становился все более ненужным и одиноким. Многие поняли, что он — серьезный, глубоко убежденный человек; что он не забавляется и забавляет, а верит и проповедует — и многим это не понравилось.

После его смерти стало еще яснее, что этот герой карикатур, забава англичан, Человек-гора никому не интересен, кроме образованных католиков. Точнее, герой карикатур исчез, а проповедник — не интересен. Был ли он интересен тем, кого называл «молчаливым народом», узнать нелегко — народ этот молчалив. Конечно, все не так просто, его причислили к классикам, но действительно нужным он становился именно в тех ситуациях, о которых настойчиво напоминал людям всю жизнь: когда

очень плохо, надежды почти нет, — и когда всех спасало чудо. Его стихи читали по радио в самый темный и в самый светлый час второй мировой войны.

Десятки лет было все так же, и трудно сказать, кончилось ли. Критик Суиннертон полагает, что величие его поймут через сто лет. Может быть — но с чего бы? Способен ли, должен ли мир стать таким, чтобы Честертон совпал с ним? Прочитаем «Наполеона Ноттингхильского» или «Возвращение Дон Кихота» — нужно ли, чтобы полубезумное рыцарство или любовь к неприметному и забытому стали будничными, если не принудительными? Видимо, это и невозможно. Честертон-мыслитель слишком легок и нелеп, в нем нет ни властности, ни многозначительной важности. Как Сайм в «Человеке, который был Четвергом», он сохраняет свободу и одиночество изгоя. Тому, чему учил он, учат только снизу. Теперь подумаем о том, чему же он учил.

Прежде всего не будем рассуждать, вправе писатель учить или не вправе. Может быть, не вправе; может быть, он учит всегда, хочет того или нет; может быть, надо сперва уточнить разные значения самого слова. Как бы то ни было, Честертон учил и учить хотел. Собственно, он не считал себя писателем, упорно называл журналистом, а многие называют его апологетом, моралистом, проповедником. Так что примем, что он — не совсем или не только писатель. Тогда возможно одно из трех: романы его и рассказы ниже литературы; или выше; или просто это другая литература, не совсем обычная для нашего времени.

Легче всего поставить ниже литературы самое популярное, что он писал, — рассказы об отце Брауне.

Они признаны классикой детектива. И верно, первый пласт — детективный: есть преступление (далеко не всегда убийство), есть и сыщик, в своем роде очень хороший. Честертон первым возглавил «Клуб детективных писателей», и никто не сомневался, что только он может быть его председателем, если члены клуба — Агата Кристи или Дороти Сэйерс. Однако еще один член клуба Роналд Нокс, глубоко его почитавший, писал, что рассказы о Брауне — не детективы, или хотя бы «больше, чем детективы».

Вероятно, детектив — не ниже литературы; однако новеллы об отце Брауне — не только больше детектива, но и меньше. Честертон любил обыгрывать психологический закон: «люди не видят чего-то, потому что не ждут». Так и с циклом о Брауне. Читая детективный рассказ, тем более — признанную классику, обычно полагаются на то, что уж с сюжетом все в порядке. На самом деле это не так. Предложу читателю интересную и полезную игру: поверять рассказ за рассказом простейшей логикой. Очень часто концы с концами не сойдутся. Вот первые, вводные рассказы — отец Браун трижды, как в сказке, обличает и отпускает Фламбо. Они провели целый день вместе; как же Фламбо «Летучих звезд» не узнал своего победителя из «Сапфирового креста» или узнал и не испугался? Хорошо, в «Станных шагах» священник тихо сидел в гардеробной, но тут они оба в гостях, в освещенной гостиной, играют в одной пантомиме. Чтобы не огорчаться, можно решить, что это — три параллельных зачина, и выбрать один, а другие считать недействительными.

Можно взглядеться и в сам «Сапфировый крест». Каждый кусочек поразит нас — как верно! Кто бы догадался, кроме отца Брауна? Но попробуйте соединить их и минутку подумать. Дело не в том, что «так не может быть», — мы не знаем, чего быть не может; дело в том, что герои, даже Браун, ведут себя не «против правил» или «против пошлой разумности», а против тех законов разума, которые так мудро защищает священник. К примеру, зачем Фламбо требует пакет, когда пакет у него? Издевки ради?

Отменим «Сапфировый крест», примем как зачин «Летучие звезды». Почему никого не удивило, что бриллианты валяются в снегу? Почему никто не подумал, что вор все же есть, кто-то их туда вынес? Почему опытный вор так уверенно положился на то, что Крук заговорит о полисмене? Да, Фламбо пытался навести на эту тему, но ведь могли и не заговорить, тогда бы все провалилось.

Словом, занятие интересное, а при чтении Честертонна — важное. Как и отец Браун, как и его создатель, оно учит видеть и то, чего не ждешь. Свобода от предвзятых мнений очень важна для Честертонна. Почти все видят условно, привычно, поверхностно, а он и его герой — «как есть». Принцип этот заявлен, чаще всего — подкреплен; но не всегда.

Возьмем только одно, самое признанное, проявление этой мудрой непредвзятости — отец Браун исходит не из мелких обстоятельств, а из сути человека: кто мог что-то сделать, кто — не мог. Нередко Честертону удавалось создать соответствующий сюжетный ход — в «Алой луне Меру», например, или в «Оке Аполлона». Но есть и

рассказы, где принцип не работает. И еще: отец Браун, греша против логики и психологии, иногда говорит то, что он будто бы понял, когда еще понять не мог. Это почти незаметно, но встречается часто.

Если мы перестанем слепо верить удачам и даже разоблачать неудачи «психолога Честертона», «психолога Брауна» или «психолога Гейла» («Поэт и безумцы»), нам будет легче заметить, что самое безупречное в рассказах — нравственные суждения. Если бы напечатать подряд все сборники рассказов и все романы (одних — двенадцать, других — шесть), «мир Честертона», быть может, сложился бы сам собой из «мудрости» отца Брауна и других героев — для тех, конечно, кто заметит эту мудрость.

Честертон очень хотел, чтобы ее замечали, для того и писал, успеха почти не добился. Подскажу несколько примеров. В рассказе «Сапфировый крест»: «Разум разумен везде» и слова о несокрушимости сообразного разуму нравственного закона. В «Летучих звездах»: «... нельзя удержаться на одном уровне зла», и вся речь отца Брауна в саду, которую и в тысячный раз трудно читать спокойно. В «Оке Аполлона» — об «единственной болезни духа», о покаянии, о стойках. В «Трех орудиях смерти» — о том, что нельзя всегда бодриться. Часто мудрые речи священника связаны со всем рассказом, но не всегда, порой они как бы вкраплены.

Как все правоверные христиане, Честертон и его герой считали худшим из грехов гордыню. Ее обличение — «Молот Господень», и «Алая луна Меру», и «Око Аполлона». Есть оно и в других рассказах — то в сюжете,

то в одних только репликах. Но уж во всех рассказах ей противопоставлено смирение маленького патера. Священник из «Молота» вершит суд Господень — отец Браун не судит и не осуждает никого. Не «ничего» — зло он судит, а «никого» — людей он милует. Это очень важно не как «особенность сыщика» или «элемент сюжета», а как урок нравственности, элемент притчи.

И сам он подчеркнуто, иногда назойливо противопоставлен гордым, важным, сильным. Он то и дело роняет пакеты, ползает по полу, ищет зонтик, с которым потом не может справиться. Обратите внимание и на его внешность — «детское лицо», «большая круглая голова», «круглые глаза», «круглое лицо», «клецка», «коротышка». Есть рассказы, где самый сюжет словно бы создан для обыгрывания его неуклюжести («Отсутствие мистера Кана») или его смирения («Воскресение отца Брауна»). Сознательно — патер смиренен, неосознанно — нелеп и неприметен. Разумный и будничный отец Браун — такой же чужой в мире взрослого самодовольства, взрослого уныния и взрослой поверхностности, как хороший ребенок или сам Честертон.

Что до взрослой поверхностности, все сюжеты, одни — хуже, другие — лучше, учат тому, как избавиться от нее. Стоит ли удивляться, что в непритязательных рассказах находят соответствие открытиям крупнейших мыслителей нашего века? А критик Уилфрид Шид пишет так: «Принцип его — поверять все и вся, может оказаться самым надежным ответом на двоемыслие, переделывание истории и другие ужасы будущего в духе Оруэлла».

Есть у Честертона другие рассказы, есть и романы. Принято считать, что они хуже «Браунов», но об этом можно спорить. И ранний сборник, «Клуб удивительных промыслов» (1905) и поздние — «Поэт и безумцы» (1929), «Пять праведных преступников» (1930) можно любить больше, хотя бывает это редко. Их можно больше любить, если ждешь притчи, а не детектива. Лучше они «Браунов» или хуже, сюжет их более связан, он чаще служит самой притче, как и персонажи, которые меньше, чем в рассказах о патере, похожи на воплощенные идеи или на картонные фигурки. Честертон ничуть не обиделся бы на такие слова, он это знал, иначе писать не умел и не собирался. Он не отвергал другой манеры — он любил и очень точно понимал на удивление разных писателей, не любил разве что натурализм, который называл реализмом, и некоторые виды модернизма; а вот свои романы он называл «хорошими, но испорченными сюжетами». Он думал о чем-нибудь, и брал эту мысль для повествования, как берут текст для проповеди.

Скажем теперь о рассказах, потом — о романах, только то, что поможет понять их «нравственный посыл». Иначе, не обращая на него внимания, читают их часто, ничего плохого в этом нет, но, во-первых, Честертон хотел не этого, а во-вторых, детективы, приключенческие повести, мелодрамы, даже фантасмагории бывают и лучше.

После перелома 10-х годов меняются и рассказы об отце Брауне, но последовательности здесь нет, да и писал он поздние сборники этой серии еще небрежней, чем всегда; нередко ему просто не хватало денег на вечно

прогоравшую газету, которую создал его покойный брат, и он садился и поскорей сочинял рассказ. Есть среди них и очень хорошие, все в том же смысле — концы не сходятся, зато несколько фраз, обычно произнесенных Брауном, искупают это. А вот сборник о Хорне Фишере («Человек, который знал слишком много») вряд ли мог бы появиться раньше. О сюжетах говорить не будем — тут есть всякое; но самые рассказы и герой их — очень печальные, едва ли не безнадежные. Многого видно тут: Честертон уже не верит в политические действия и с особой скорбью любит Англию, и как-то болезненно жалеет даже самых дурных людей. Людей жалеет и отец Браун, но он исполнен надежды, тогда как Фишер — сама усталость. Рассуждая об этом сборнике, критики предположили, что герой — не Фишер, а Марч, и все описанное — его «политическая школа». Оснований для этого мало. Конечно, Честертон не отождествлял себя с Фишером (тот похож на его друга Мориса Беринга), но и с Марчем не отождествлял, а трактаты, стихи, воспоминания о нем позволяют предположить, что общего у них больше, чем кажется на первый взгляд.

Когда-то в отрочестве Честертон поклялся «сражаться с драконом». Читая его романы, снова и снова видишь, как в единоборство с драконом вступает, собственно, мальчик. Адам Уэйн едва ли не чудом победил скучный, прогрессивный, технократический мир («Наполеон»); Сайм с друзьями — угрозу уныния и распада («Четверг»); Инносент Смит — глупость и отчаяние («Жив-человек»); Патрик Дэлрой — бесчеловечную утопию («Перелетный кабак»); герои «Охотничьих расска-

зов» — безжалостные власти и безжалостных дельцов; Майкл Херн и Дуглас Мэррел («Возвращение Дон Кихота») — все тот же ненавистный Честертону уклад, противостоящий разуму, милости, веселью, вообще человеку. Позже скажем о том, что герой — не один, часто у него есть помощник повзрослее, но сейчас речь не об этом. Отец Браун никого не наказывает, не судит и не предает суду; он не пользуется победой. Хорошо, он — священник, но ведь и другие ею не пользуются. Уэйн единственный, кто и победил, и стал править, хотя через много лет его и прогнали вместе с королем. Сайм, как бы внешне и победивший, вернее — узнавший, что побеждать некого, произносит слова, которые исключительно важны для Честертона: тот, кто борется со злом, должен быть одиноким, изгоем. Патрик побеждает турок и лорда, но никак и никем не правит. Герои «Охотничьих рассказов» тоже побеждают врагов, но, как и в «Кабачке», почти до самого конца они только и делают, что шутят. Никак не правят и они; а вот Майкл Херн именно правит, но удержаться не может, потому что ставит справедливость выше всего остального («Дон Кихота» и «Охотничьи рассказы» называли «книгами справедливости»). Именно тут, в конце «Дон Кихота», Честертон говорит, что «общественную пользу приносят лишь частные дела». Еще больше подчеркнуто это в позднем рассказе «Восторженный вор», совсем уж похожем на притчу.

Некоторые критики полагали, что Честертон вел опасную игру — взывал к толпе, разжигал страсти, проповедовал жесткие догмы, которых и без него хватает. Можно прочитать его и так, но не этого он хотел. Эзра

Паунд сказал когда-то: «Честертон и есть толпа». Обидеть Честертонна это не могло, потому что «обычный человек» для него неизмеримо лучше тех, кто гордится своей исключительностью. Кроме того, для Честертонна нет толпы, есть только люди. Он не всегда умел это описать, всегда — стремился (посмотрите, например, как входят в аптеку мятежники из «Перелетного кабака»). Казалось бы, он столько читал о средних веках, жил — в двадцатом; можно ли не заметить, как множество людей становится толпой в худшем смысле слова? Ничего не поделаешь, Честертон видел мир иначе. Чернь для него — те, кто наверху. Все просто, как в Евангелии: тот, кто внизу, лучше того, кто наверху.

Что до обвинений в жестокости, чаще всего ссылаются на апологию битвы и крови, особенно в «Наполеоне Ноттингхильском», удивляясь при этом, почему вокруг ничего не меняется, все живут, как в самое мирное время. Причина проста: «битва» и «кровь» для него — знаки, символы, как игрушечный нож, который он назвал в одном эссе «душой меча». О детективах не говорю: в них кровь и прочее — условность жанра. Боевитость его совершенно неотделима от смирения и милости, догматичность — окуплена милостью и смирением, легким отношением к себе.

Все это, и многое другое, побуждает искать для Честертонна каких-то других решений: не «воинственный — мирный», «догматичный — терпимый», а сложней или проще, но иначе.

Когда слава Честертонна стала стремительно падать в Англии, она начала расти у нас. Конечно, она не была

«всенародной» — маленькие книжечки рассказов и пять романов издавались в 20-х годах небольшими тиражами, да и нравились они прежде всего писателям и кинематографистам (особенно их любил Эйзенштейн). Никто не сомневался в том, что Честертон — именно тот «эксцентрик ради эксцентрики», которых тогда так любили, у которых учились. Эйзенштейн восхищался тем, как король Оберон из «Наполеона» внезапно увидел вместо спин своих приятелей морды драконов — поистине «остранение» в совершенном своем виде! Такие же чувства вызывал «острый взгляд» отца Брауна или Хорна Фишера. А уж сюжеты и ситуации — ничего не скажешь, фантазмагория, цирк, балаган. Особенной любовью пользовался «Человек, который был Четвергом».

Что думает и чему учит Честертон, не знали или от этого отмахивались, восхищаясь его стремительностью и чужачеством. Его считали как бы «объективно левым» — не хочет быть «левым», но так получается. Однако отмахнуться от такого восприятия — слишком просто, более того — неправильно. Ведь Честертон действительно бросает вызов всему застывшему, тяжкому, важному, или, как сказал бы он сам, глупому.

Английские критики нередко вспоминают о том, что любимые им герои его романов и циклов — как бы две половинки ножниц, «которыми Бог кроит мир». Собственно, про ножницы сказал он сам и неоднократно это подчеркивал, особенно явственно — в «Наполеоне Ноттингхильском». Кроме Оберона и Уэйна, к таким парам со все большей натяжкой можно причислить Майкла Херна и Мэррела из «Дон Кихота», Макиэна и Тернбул-

ла («Шар и крест»), отца Брауна и Фламбо. Чаще всего пишут, что один — рыжий и романтичный («идеалист», даже «фанатик», начисто лишенный юмора), другой — маленький и не рыжий — ничего кроме смеха не ведает. Такая пара, собственно, только в первом романе и есть. Уже в «Четверге» Сайм — рыжий и романтичный, но кто там «шутник», не Воскресенье же? Скорее Сайму противопоставлен Грегори, уж точно фанатик без юмора, но Честертон нимало не считал, что такими, как он, Бог кроит мир — если бы он не вызывал жалости, его можно было бы уподобить сатане из Книги Иова. У Инносента Смита точной пары нет, разве что Майкл Мун, но вряд ли; Патрик Дэлрой совсем уж романтичный и рыжий, но он же и «шутник». Правда, один исследователь считает, что «вторая половинка ножниц» в «Кабак» — Айвивуд, и тогда он — фанатик, Дэлрой — клоун. Не думаю; скорее фанатичный лорд стоит в ряду честертоновских гордецов, которыми тоже Бог мира не кроит. Однако можно заметить во всем этом и очень важную вещь: оба, и «шутник», и «идеалист», четко противопоставлены важным, глупым людям, вроде доктора Хантера в «Охотничьих рассказах» или его коллеги из «Жив-Человек». Оба бросают вызов миру поверхностной обыденности, и тут поклонники Честертонна, о которых мы только что говорили, совершенно правы. Такой именно вызов бросали и они.

Но читатель, наделенный умением отца Брауна, может несколько удивиться: а как же сам Браун? Неужели он чем-нибудь, кроме роста, напоминает короля? А Хэмфри Пэмп? А добрый доктор Суббота? Они же ничуть

не эксцентричны. Допустим, нелепость отца Брауна как-то роднит его с «эксцентриками», но кабатчик Пэмп и скромный врач, сам назвавший себя вульгарным, скорее похожи на тех самых мещан, которых так в 20-е годы не любили. И вообще все эти трое и многие другие у Честертона воплощают здравый смысл и стремятся никак не к эксцентриадам, а к тихой жизни, которую искренно считали обывательской.

Стремятся к ней и клоуны, и романтики. Самый фанатичный из «идеалистов», Адам Уэйн, хочет только одного: чтобы тихую и трогательную улочку его детства оставили в покое. Сайм защищает покой «шарманочного люда»; Патрик (даже больше, чем Сайм, совместивший в себе идеалиста и клоуна) хочет вернуть своей стране уют. Кто, кроме Честертона, мог дать ему песню, где свобода ведет не к неведомым и странным мирам (к ним ведет тирания Айвивуда), а просто к человеческому дому? Гейл («Поэт и безумцы») предпочитает эксцентрике «центричность»; Солт из того же цикла предпочитает жизнь лавочника жизни поэта. Словом, получают еще одни ножницы, иногда воплощенные в персонажах — Сайм и Буль, Патрик и Пэмп.

Чтобы лучше понять, как видел и чему учил Честертон, хорошо прочитать его трактаты. Сейчас предварительно расскажем своими словами о том, о чем говорит он в одной из глав книги «Ортодоксия», написанной тогда же, что и «Четверг».

Говорит он о том, что христианство казалось ему когда-то поистине диким: одни ругали его за неприметность, другие — за пышность; одни — за дерзновен-

ность, другие — за небывалую кротость, и так далее. Он удивлялся и думал, не монстр ли это, когда ему пришла странная мысль — а может, оно просто такое, как надо? Тогда, естественно, людям наглым противна его тихость, людям рабски приниженным — его вызов, как человек нормальной толщины кажется слишком толстым тем, кто нечеловечески истощен, и слишком худым — тем, кто разъялся до невозможности.

Мысль вела дальше: значит, нужна здравая мера, больше ничего? И тут он понял, что христианство не смешивает допустимые доли «хорошего», а развивает во всю силу всякое добро. Смирение и честь, милосердие и праведный гнев, радость и скорбь не смешаны, они рядом, «словно ярко-алое и ярко-белое на щите», а не «грязновато-розовое». Можно спорить о том, так ли это в христианстве, но у него это всегда так.

Честертон непрестанно пытается показать нам, что разновидности добра, несовместимые для «мира сего», на самом деле просто обязаны совмещаться; повторю — не смешиваться, создавая что-то среднее, а совмещаться, «неслиянно и нераздельно».

«Добро» для Честертона — понятие предельно четкое, ни в малой мере не условное. «Добро — это добро, даже если никто ему не служит, — пишет он, кончая эссе о Филдинге. — Зло — это зло, даже если все злы». Но Честертон служит не какому-то одному виду добра — скажем, мужеству или кротости. Такие ценности, не уравненные другими, с общепринятой точки зрения — им противоположными, он считал лишь частями истины.

В первом приближении ценности, которым он служит и которые соединяет, можно назвать «ценностями легкости» и «ценностями весомости». Можно сравнить одни — с углом, а другие — с овалом (не считая, что угол и овал противостоят друг другу). Можно сказать, что это — эсхатологическая легкость и космическая полнота, округлость, законченность. Можно назвать эти начала центробежным и центростремительным. Честертон — защитник мятежа и чудачества, смеха и нелепицы, приключений и причудливости; и одновременно, в полную силу — защитник здравого смысла, доброй семьи, «обычного человека». Виды же зла, противоположные и тому, и другому, а на обыденный взгляд — и друг другу, тоже сходятся, но тут уж возникает особое, сугубое зло. Представим только — уныние благодушных или анархия, изначально порождающая тиранию.

Первого приближения вроде бы и достаточно, но упорно напрашивается что-то еще, и мы бы определили это так: у Честертона скорее три «группы ценностей», соответственно — три, скажем так, разновидности зла.

Честертон часто считают оптимистом. «Оптимистом он не был, он был учителем тяжело окупленной надежды и благодарной, смиренной радости. «Глазами любви, которые зорче глаз ненависти», он ясно видел зло. Однако это не привело его ни к цинизму, ни к злобе, ни к унынию и потому, что зло было для него не властителем, а «узурпатором», и потому, что он с одинаковой силой ощущал и отвергал разные его виды.

Вероятно, легче всего заметить, что он ненавидит зло жестокости (пишем «жестокости», а не «страдания», так

как для него зло коренится прежде всего в человеческой воле). Милосердие его так сильно, что нетрудно поначалу счесть его добряком, попускающим все на свете, лишь бы человеку было хорошо. Но, вчитавшись, мы замечаем, что такому представлению о нем противоречит его нетерпимость к злу развала и хаоса.

И это у него очень сильно. Редко, но встречаются противники и поклонники Честертонна, которые считают его кровожадным сторонником силы, насаждающей порядок. Но это так же неверно, как считать его благодушным или всетерпимым. Действительно, люди с таким острым неприятием хаоса легко поступаются жалостью к человеку. Честертон так не делал. Порядок для него не противоречит ни свободе, ни милости. Более того: они не держатся друг без друга.

Наконец, он наделен острым чутьем лжи — особого, почти неуловимого зла, которое может погубить любую духовную ценность. По-видимому, в нашем веке это зло чувствуют сильнее, чем прежде, но ради истинности то и дело поступаются милосердием или порядком. Честертон ими не поступался, хотя он предельно чувствителен к неправде и знает все ее личины — от высокомерия, как-то связанного с «духовными силами», до самодовольства и пошлости. Он так ненавидел ее, что всячески подчеркивал несерьезное отношение к себе, чтобы избежать гордыни и фальши, которые придают человеку и его делу многозначительную важность. Отсюда та несерьезность тона, которая вроде бы ему вредила, точнее, не ему, а его мирской славе. На самом деле она очень много дает и ему, и нам: его не полюбишь из снобизма,

им нельзя высокомерно кичиться. Конечно, теперь и не то можно, и все же нелегко, как-то несолидно гордиться тем, что читал такого мыслителя. Мода на него прошла, и был он в моде не как мыслитель, а как эксцентрик и поставщик детективов, что само по себе не способствует духовной гордыне. И вот он — один из известнейших писателей века — окружен спасительным унижением, без которого, если верить христианству, нет истинной славы.

Служение милости, порядку и правде принесло редкие для нашего времени плоды. Честертон парадоксален не только потому, что хотел удивлением разбудить читателя, но и потому, что для него неразделимы ценности, которые мир упорно противопоставляет друг другу. Он — рыцарь порядка и свободы, враг тирании и анархии. Радость немыслима для него без страдания о мире, а противопоставлены они унынию и благодушию. Чуждаясь беззаботности неотделима от любви к четкости и прочности, иерархии и укладу. Смирение невозможно без высокого достоинства, крепость духа — без мягкости сердца. Примеров таких много.

В век, когда постоянно жертвуют одной из ценностей во имя другой, особенно важно вспомнить, что поодиночке ценности эти гибнут. Мы можем учиться у Честертона такому непривычному их сочетанию. Нам не хватает его, мы принимаем «часть истины», и мало кто может помочь нам так честно, убежденно и благожелательно, как он.

Чтобы перенести нас из мира мнимостей и полуистин в такой истинный, слаженный, милостивый мир, Честер-

тон не только будит нас непривычно здравыми суждениями, которые удивительней парадоксов Уайльда, и не только раздает своим героям свойства и сочетания свойств, которые он хочет утвердить или воскресить. Он создает особый мир. Эта тривиальная фраза обретает здесь реальнейший смысл: он почти рисует этот мир, если не лепит — такой он получается объемный. Роналд Нокс пишет, что нам часто кажется, будто мы видели цветные картинки к рассказам об отце Брауне. Относится это и к другим книгам. Мир Честертона был бы невесомым и причудливым, как «страна восточней Солнца и западней Луны», но все в нем четко и весомо, цвета чистые и яркие, и если заметить только это, его скорее примешь то ли за пряничный городок, то ли за цветаевский Гаммельн. Наверное, очень точный его образ — летающая свинья из «Охотничьих рассказов». Конечно, как и всего, что сам Честертон считал очень важным, красоты и причудливости этой можно вообще не заметить, но иногда (надеюсь, часто) они действуют сами собой, как подействовало на Майкла Муна и Артура Инглвуда все, что они увидели в мансарде Инносента Смита. Если же подействует и мы в такой мир попадем, могут появиться те чувства и свойства, которые есть у человека, вообще видящего мир таким. Так видят в детстве — и мы вернемся в детство, так видят в радости — вернемся к радости, так видят, наконец, в свете чуда, и мы войдем в край чудес.

Прозрачность в этом мире сочетается не с бесцветностью, а с ярким или хотя бы чистым цветом: это драгоценный камень, леденец, освещенное огнем вино, утреннее или предвечернее небо. Описания неба и све-

та в разное время суток не просто хороши — кому что нравится; в этом свете, на этом фоне четко обрисованы предметы, и вместе все создает тот же особенный мир, весомостью своей, прозрачностью, яркостью, сиянием похожий на Новый Иерусалим.

Однако мир этот — здесь, на Земле, и сейчас, а не в будущем, даже не в прошлом, хотя Честертон часто упрекают за «идеализацию средневековья». Средние века он называл «правильным путем, вернее — правильным началом пути»; об его непростом отношении к ним можно узнать из «Наполеона» и «Дон Кихота». Гораздо важнее, чем какая бы то ни была идеализация, стало у него уже в молодости совсем другое: показать растерянным, усталым, замороченным людям, где они живут. Он учил бережливости и благодарности. Такой мир — здесь, а не «там» — драгоценен и незащищен, он чудом держится в бездне небытия, мало того — его надо все время отвоевывать. Едва ли не самая прославленная фраза Честертона — «Если вы не будете красить белый столб, он скоро станет черным». Вот он и учит нас видеть, что столб — белый и что черным он станет непременно, значит — надо его красить. Красить он тоже учит и напоминает, как это трудно.

Многие читатели гадают, в чем же смысл довольно загадочного «Четверга» и кто такой Воскресенье? Честертон и сам не отвечал на это однозначно, а насчет Воскресенья в разное время думал по-разному. Говорил он, что это Природа, которая кажется бессмысленной и жестокой «со спины» и прекрасной, если глядеть ей в лицо. Однажды сказал, что это «все-таки, может быть, Бог»;

но тем, кто знает его и у нас, и в Англии, ясно, что Бог этот — вроде таинственных Вседержителей глубокой древности или вроде Бога из Книги Иова, отвечающего на загадку загадкой. Однако в конце, когда Семь Дней Недели уж несомненно — в прекрасном, по-прежнему причудливом мире, Воскресенье произносит евангельские слова. Слова эти очень важны: Честертон считал и хотел сказать нам, что красота и радость мира только тогда и держатся, когда окуплены тягчайшим страданием. Легко этого не заметить, очень уж сказочный у него мир; сказочный — не в смысле «очень хороший», а «такой, как в сказке». Но ведь и в сказке много страдания, которого мы тоже часто не замечаем, поскольку, как писал Честертон, мир в ней странен, зато герой — хорош и нормален. А так — прикинем: потери, разлуки, смерти, тяжкие покаяния, бездомность. Прибавить уныние — и тогда будет настоящая, взрослая литература или просто литература, но не проповедь и не притча убежденного учителя надежды.

Надо сказать еще об одном. Действие первого его романа «Наполеон Ноттингхильский» начинается в 1984 году. Исследователи никак не решат, думал об этом Оруэлл или не думал. О Честертоне он думал много, иногда писал, не особенно любил его. Если он честертоновской даты не заметил, это удивительно, но возможно. Мы, во всяком случае, ее замечаем, и мы этот год прожили. В таком страшном веке на пути к этому году жили два очень разных английских писателя, автор антиутопий и автор утопий, которые потом называли «благими». Обоих сравнивали с Дон Кихотом, оба любили и жалели людей. Ка-

жется, что один боялся за них больше, другой — меньше, но вряд ли это так. Вернее предположить, что «другой» больше надеялся и верил или просто видел иначе. В Честертоновской притче, где небо огромно и прозрачно, Земля — драгоценна и мала, негде происходить тому, что происходит у Оруэлла. Взрослому, усталому человеку трудно вместить то, что происходит у Честертонна. Но стоит ли решать, кто прав? Миновал 1984-й, наконец изданы их книги, и перед нами — Оруэлл и Честертон, две половинки ножниц.

2. Предисловие к полному собранию рассказов

Вот, на русском языке впервые вышли все рассказы Честертонна. Честно говоря, опять не все — один, «Деревья гордыни» печатается в журнале¹, причем в трех номерах, поскольку это, в сущности, не рассказ, а повесть. Но, конечно, теперь у нас собрание честертоновских рассказов, а не выборки. Хорошо ли это, долго не могли решить и в Англии. Что ни говори, как его ни люби, некоторые рассказы — просто дикие. Дело не в том, что концы не сходятся с концами, — логические ошибки как бы оправданы заранее, да и не очень заметны; дело в том, что Честертон изменяет сам себе, нарушая им же провозглашенные законы истины и милости. К счастью, таких рассказов мало. На мой взгляд, их вообще нет ни в цикле о поэте и безумцах, ни в другом цикле, который назван

¹ «Истина и жизнь», 2003 г.

«Охотничьими рассказами», хотя некоторые исследователи относят его к романам. В рассказах о Фишере я не так уверена; что же до «Понда» и «Преступников», и без меня видно, какой тут зазор между очень хорошим и невысказанно слабым. Честертон не ставил этого в вину ни одному писателю, разумно полагая, что современники и потомки отберут, что надо. Мало того: в отличие от многих, он первым признал бы, что иногда пишет ужасно.

Вынеся за скобки все, о чем говорили много раз — он проповедник, он смиренен, он «не относился серьезно к себе», — заметим только, что примерно к 1930 году он выдохся. Это легко себе представить — вспомним, как Гофмейстер рисовал его в виде шара или, точнее, большого воздушного шарика. Многие припоминали, что он стал особенно беспомощным, а сам он писал, что обрел второе детство. Сейчас бы его даже не назвали старым, в 1930-м ему было 56 лет, но он несомненно кончал жизнь, только не в горестном, а в радостном смысле. Писал он не меньше, чем всегда, — к этим годам относятся прекрасная, но неровная книга о св. Фоме Аквинском, три сборника рассказов («Преступники», «Понд», «Позор отца Брауна»). Именно в них и видно, что он уже не летит. К несообразности довольно часто прибавляется вымученность. В «Пяти праведных преступниках» последний рассказ, о предателе, можно вынести только в том случае, если мы согласимся на что-то вроде уличного театра с деревянными куклами; и это при том, как мудры, глубоки и райски-красивы другие рассказы сборника.

Остановлюсь немного на нем, дам три справки. Во-первых, исследователи считают, что сборник этот пере-

кликается и с «Клубом удивительных промыслов», и с романом «Человек, который был Четвергом», здесь та же игра мнимости и правды. Во-вторых, когда мы издавали два рассказа из него, он назывался по-русски «Четыре праведных преступника». Так называется он и по-английски; но именно в нем Честертон непрерывно пользуется т.н. «германской аллитерацией» — слова начинаются с одной и той же буквы. Этот прием характерен для англичан, еще характерней для Честертона, однако здесь он переходит все границы. «Преступников» действительно пять, а с репортером — шесть; и мы давно хотели, сохраняя эту особенность, перевести так названия, но нам не разрешали. Наконец, в-третьих, читая эти рассказы, видишь, что прямо по ним проходит черта, и понимаешь, что в его жизни был не один перелом, 1914 года, а два — в 1914 и в 1929-30. Оба совпадают с переломами времени. Так бывает скорее у мистиков, чем у писателей. Что ж удивляться, если в сборнике, где есть едва ли не самый слабый рассказ, написаны такие слова: «А вдруг Господь попускает зло, чтобы мы не поняли хотя бы в этой жизни, какой Он хороший?»?

Честертон, а с ним — и читатель, выходит в другое пространство, о котором здесь не место писать. За него не жалко отдать писательский дар.

3. Человек который был Четвергом

«Человек, который был Четвергом» (1908) считается лучшим романом Честертона. Однако именно его почти всегда воспринимают как чистую эксцентрику. Здесь, у нас, в 20-е годы это дошло до полного абсурда, особенно — в инсценировке Таирова, и Честертон печально писал, что принять роман против анархистов за апологию анархии — это слишком даже для большевиков.

Объяснять и доказывать трогательность и мудрость какой бы то ни было книги по меньшей мере глупо. Сделаем иначе: чтобы избежать слепых пятен, замедлим чтение там, где Сайм думает о «шарманочном люде»; там, где он видит, не глядя, миндальный куст на горизонте; там, где доктор Булль жалеет Понедельника или говорит «Мне ли не знать, я сам вульгарен!»; там, наконец, где, отвечая Грегори, Сайм рассуждает о «свободе и одиночестве изгоя». Особенно важен разговор с человеком в темной комнате. Стыдно писать такие слова, но ведь это — точнейшее определение Церкви. («Я не знаю занятия, для которого достаточно одной готовности». — «А я знаю. Мученики».)

Сам парк, Сохо, Лестер-сквер, переулки у реки — реальной настоящего Лондона. Когда через 52 года после того, как прочитала книжку, я увидела их, они оказались такими, как там, а не такими, как на фотографиях.

Можно ограничиться удивительной красотой этого «сна», но жалко, если мы не пройдем с Саймом его путь. Часто мы делаем почти то же самое, что он или Булль, и нам, как им, намного легче, если мы не одни.

Скажу еще немного об этом романе:

А) Шарманочный люд. Многие из нас (тем более — здесь, в России) испытали тот невыносимый страх, который описал Честертон в главе VI своего «Страшного сна». Можно себе представить, какой стала бы эта сцена у величайших писателей века, который тогда начинался, а сейчас, слава Богу, кончилась. У Борхеса или Кафки к страху бы все и свелось, мы вместе с автором оказались бы в черной воронке, только Кафку было бы жалко, а Борхеса — нет. У Камю вывезло бы (куда?) безупречное и бессмысленное благородство. Есть, наверное, и другие варианты, скажем — бравурный героизм, хотя вряд ли его проповедник может стать великим.

Только один человек, забытый за свою глупость и прославленный в самом прямом, богословском смысле слова, по той же самой причине, нашел совсем иной выход. Страх не раздавил его героя потому, что тот услышал шарманку, и случилось вот что:

«Сайм замер и подобрался, словно зазвучала боевая труба. [...] Бренчащие звуки звенели всей живучестью, всей нелепостью, всей безрассудной храбростью бедных, упорно полагававшихся там, в грязных улочках, на все, что есть доброго и доблестного в христианском мире. [...] Здесь он представлял людей простоватых и добрых, каждый день выходящих в бой под звуки шарманки. [...] Шарманка играла марш бодро и звонко, как оркестр, и сквозь голоса труб, певших славу жизни, он слышал глухую дробь барабанов, твердивших о славе смерти».

Шарманочный люд не обманул. Позже, на очередном витке страха, оказалось, что он не помогает анархистам, а хочет защитить от них мир. Лучший человек в книге, доктор Булль, воплощающий день творенья, когда создан человек и звери вроде слона, собаки, кошки, этому не удивился. «Я знал, что не могу обмануться в обывателях, — говорит он. — Вульгарный человек не сходит с ума. Я сам вульгарен, мне ли не знать!»

Что же это, честное слово? Вульгарные, а если хотите — простоватые люди жили рядом с Освенцимом и ухом не вели. Неумение выбирать и думать — не такая уж добродетель. Толпа у Голгофы этим и отличалась. Неужели для Честертона всё лучше «этих умников»? Наши микроголгофы и микроосвенцимы — очереди, коммуналки, трамваи, долго мешали мне поверить его апологии «common people». Хорошо, у них нет той гордыни, которая есть у изысканного интеллектуала, но чем лучше агрессивность и самодовольство без тонкости и ума? Но вот очередей нет, трамваи — не набиты, коммуналки скупают для офисов и хором. Столетие беспощадной свободы и беспощадного порядка кончается. Те, кто не умеет выбирать и думать, служат скорее низшим похотям, чем бесовским идеологиям, а главное — «common people» лишились возможности всех контролировать и учить. Слова Честертона смущают меня меньше. Что слышится в них теперь?

Скорее всего, то самое, чем поражает последний стих Ионы. Есть это у Осии; есть (меньше) у Иоила, вообще у пророков. Богу нас жалко, у Него переворачивается от жалости сердце. Авраам молил о праведниках и не доб-

рал нужного числа. Может быть, Содом и Гоморра остались совсем без обычных, жалобных людей и этим отличались, как отличается от всех морей Мертвое море. Но в других местах и столетиях эти люди есть всегда. Прося в очередной раз о том, чтоб они сносно жили, мы должны помнить вместе с Богом, как они (точнее — «мы») похожи на детей, не умеющих отличить правую руку от левой.

Собственно, слова «Прости им, ибо не ведают, что творят» — ровно о том же. Кажется, Честертон считал, что кто-то ведаёт, скажем — те же «умники». Я думаю, скорей уж должны ведасть мы, назвавшиеся христианами. Потому мы и берем вину на себя, несем чужие кресты. Но это — другая тема. Что до «common people», их Честертон считал не ответственными, а священными, как маленький зверь или обжитое жилище.

Поэтому, со всеми своими мечами, он так близок тем людям, которые, на границе тысячелетий, терпеливо защищают уютную, мирную жизнь. Другое дело, что они, в отличие от него, не знают, чем она окуплена; кто и как спасает ее от жестокости и хаоса.

Б) Розамунда и Франциска. Иногда пишут, что эта книга — поэма о любви к жене. Действительно, до свадьбы Франсис жила в Бедфорд-парке. Дом ее семьи стоит, как стоял, при нем — красивый садик. В семействе Блоггов, кроме матери, носившей старинное (для Англии) имя Бланш, были три сестры и несколько сумасшедший брат, Джордж Ноллис, который покончил с собой в самом конце лета 1906 года (роман писался в 1907-м).

Рыжей Франсис не была. Когда двадцатидвухлетний Гилберт увидел ее в первый раз, он записал в дневнике: «Гармония коричневого, зеленого... и еще что-то золотое — корона, должно быть». По той артистической моде, которую мы знаем из иллюстраций к «Алисе», она была в свободном зеленоватом платье, с распущенными волосами; и он решил, что похожа она на прекрасную гусеницу (роль перехватов выполняли какие-то веночки).

Писем, записей и стихов, связанных с любовью к Франсис, необычайно много. Увидел он ее в 1896 году, объяснился ей в любви — в 1898-м, женился — в июне 1901-м. Когда, уже за 30, она делала операцию, чтобы избавиться от бесплодия, он сидел на ступеньках, мешая сестрам и врачам, и писал ей сонет (операция не помогла).

Роль невесты, потом — жены, в жизни Честертон так велика, что поэмами о ней можно считать все его книги. Однако, кроме совпадений, у «Четверга» есть преимущество: избавление от страха Честертон всегда связывал с Франсис. При всей ее скромности, она приняла это и не спорила, когда, посвящая ей поэму «Белая лошадь», он писал: «Ты, что дала мне крест».

Когда сорокалетний Честертон заболел какой-то странной болезнью и несколько недель был без сознания, Франсис спросила его: «Ну скажи, кто за тобой ухаживает?» — и немного посмеялась над собой, потому что, открыв глаза, он ясно ответил: «Бог».

В) Цветы и снег. Сон это или не сон, определить невозможно (подробно мы писали об этом в длинном послесловии к роману, изданному в 1989-м в приложении к

«Иностранной литературе»). Здесь заметим только одну неустрашимую странность: нельзя установить и время действия. В заметках Честертон говорит о «февральском вечере», и это не совсем нелепо — в самом начале марта в Англии цветут яблони и вишни. Во Франции теплей, там высокая трава — что ж, может быть. Однако перед самым снегопадом члены Совета сидят без пальто на открытом балконе, а в конце книги, то ли — наутро, то ли — примерно через неделю, Розамунда срезает сирень. Это уже не февраль, даже не март. Лучше всего подошел бы апрель, но принять это и успокоиться что-то мешает. Ощущение сна или хотя бы стихов создается и тем, что время года, вообще время — колеблется, съезжает куда-то.

4. Новый Иерусалим

Сейчас издается довольно много книг Честертона — трехтомник, пятитомник, разные сборники. По-видимому, читатели ощутили в нем такие необходимые нам качества, как легкость, чистота и душевное здоровье. Вообще-то они теперь бывают, особенно — первое, но по отдельности. Дадут тебе легкость, терпимость, игру — плати по меньшей мере полным скепсисом; дадут чистоту или здоровье — плати нетерпимостью и фальшью. А у него ни ханжества нет, ни той даровой доброты, которая вызвана равнодушием. Словом, и у нас, и в Англии с Америкой, тяга к нему возрождается, причем те, кто хочет его читать, не думают, как думали многие в 20-х, что он — беззаконный эксцентрик или, как думали не-

которые в 60-х, что он лютый воин, надеющийся сразить зло мечом.

Однако если судить о нем по «мыслям», спорам не будет конца. Из него нетрудно выписать сотни «либеральных» и сотни «консервативных» цитат. Дело в том, что он умел сочетать то, что кажется несовместимым — не смешивать, а именно сочетать, как сочетаются все цвета, чтобы дать белый. Если их просто смешать, будет в лучшем случае бурый.

Сам он говорил в «Чарльзе Диккенсе», что, хочет писатель или нет, он все равно учит самой атмосферой своих книг. О том, как этот пророк и проповедник учил напрямую, много написано даже у нас. Сейчас мы поговорим о том, как действует он подспудно, незаметно, словно свет или запах, а точнее — все тот же цвет. Огромную роль у него играют краски, и не просто сами по себе, а с добавлениями четкости, прозрачности, сверкания, яркости.

Когда-то и дело описывается что-то четко очерченное, яркое, прозрачное и сверкающее, больше всего это похоже на драгоценные камни. Честертон переносит нас в особый мир, который видел в детстве, потом — утратил, словно тот затянулся серо-бурой пеленой, и внезапно увидел опять в двадцать два года, по пути в лондонское предместье, где он встретил свою будущую жену. Такой мир он чаще всего сопоставляет с чудом. Все это не случайно — он очень жалеет тех, для кого пелена не спала, и пытается передать им радость. Примерно так видят дети (если их уж очень не скрутило), влюбленные, святые. Честертон надеется, что, переняв такое видение, мы очнемся и станем благодарными, как они. Часто ис-

полняется эта надежда или нет, судить трудно. Могут только сказать, что знаю людей, многим ей обязанных, и сама принадлежу к их числу.

Мир, полный драгоценных камней, — это Новый Иерусалим из «Откровения». Перечитайте соответствующие места; правда, мы к ним и здесь вернемся. Теперь посмотрим, как выглядит это у Честертона.

«Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж темных стволов. [...] Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали кристаллики звезд».

«Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, а сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты».

«Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась одна звезда [...], представлялось светозарной пещерой [...] и, чем больше погружалось оно в кристалльные волны, тем становилось [...] прозрачнее, подобно цветному стеклу».

«Дети правы, леденцы лучше драгоценного камня. Как хорошо есть изумруды и аметисты! [...] Они (леденцы) сверкали, как рубин».

«В мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж [...] Вот алое вино обернулось алым закатом,.. вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада [...] Вот свет их слился в огромный прозрачный рубин, освещавший все вокруг, словно алое солнце».

«На фоне зеленого и черного мрамора, в глубине часовни, мерцал темный багрянец, [...] а на его фоне алели рубины усыпальниц, розы святой Доротеи».

Как видите, почти всюду у него — подобие зеленых камней (изумрудов, аквамаринов, хризопразов) и алых (гранаты, рубины). Это действительно так. Он считал, что красного должно быть мало, только капли, и четко ограниченные, но этих капель (леденцы, вино в бокале, фонарики, даже окно кондитерской, которой он сравнивает с «кончиком сигары») у него много. Подсчеты показывают, что преобладает у него алое, вплоть до почти черного, но прозрачного цвета; золотое и медное; зеленое. Почему-то синего мало; зато сочетанию синего с серебряным он посвящает первый рассказ об отце Брауне, «Сапфировый крест».

Алмаз ему, видимо, не нужен, прозрачность без цвета не уживается в его Новом Иерусалиме, зато россыпь разноцветных сверканий (бриллиант) он очень любит. Вот, к примеру:

«Бесчисленные огни всех цветов радуги дробились в бесчисленных зеркалах и плясали на бесчисленных тортах и конфетах, сиявших позолоченными и многоцветными фантиками».

Однажды, правда, отец Браун предлагает Фламбо представить себе «алмазные леса с бриллиантовыми листьями», но когда ты привык к честертоновскому миру, непременно покажется что бриллианты — не бесцветны.

Бесцветной прозрачности он не любил; не любил и непрозрачной яркости. Конечно, без нее обойтись труднее, но что-нибудь прозрачное или хотя бы сверкающее он да вводил, приподнимая и облегчая картину. Например, в сказке «Разноцветные страны» волшебник проводит мальчика, которому надоело смотреть на небо, дом и сад, через всю радугу, и получается так:

«Когда я пробирался сквозь павлиньи и бирюзовые леса, мир становился все зеленее [...] Потом я перебрался в четвертую страну... — лимоны, короны, подсолнухи... Через оранжевые края — шафран, апельсин, пламя — я попал в алую страну...»

Однако его безошибочное чутье тут же ему подсказывает, что даже с огнем, золотом, павлиньими перьями, такой мир уже не радостен, а мучителен, и он мгновенно вводит мягко-белое, потом — бесцветное, но сверкающее:

«Передо мной стоял волшебник с бородой слоновой кости, и глаза его сверкали бриллиантовым блеском».

Чтобы пригасить, усмирить, сделать смиренней яркость мира, белого ему мало, этот цвет и сам слишком ярк. У Честертона есть эссе «Кусочек мела», где он показывает, что белое — это цвет, рисуя белым мелком на бурой бумаге. Вот бурый и серый, цвета смиренного фона — неперемнны у него. Серый он воспел в эссе «Сияние серого цвета», бурое спрятал в фамилию своего любимого героя, отца Брауна, который об этом рассуждает в рассказе «Алая луна Меру». Рассказ — о ярком, алом, прозрачном и сверкающем камне, но почти незаметно остается ощущение того тихого, неприметного фона, без которого красота могла бы обернуться наглостью.

Собственно, все это — примеры одного из тех сочетаний, о которых мы говорили в начале. Свобода у Честертонa не противостоит уюту, а дополняет его; достоинство дополняет смирение, неприятие зла — милость к человеку. Таких сочетаний очень много, и одно из них — драгоценные камни на скромнейшем фоне. Честертон хочет сказать, и всячески показывает, что друг без друга

они не держатся, обретают какую-то неточность, если не порочность.

Еще в 70-х годах довольно давно шли разговоры с художником о картинках к Честертону, и он сказал, что больше всего подошла бы рождественская елка. Действительно, игрушки для него — те же драгоценные камни, а темный цвет и таинственность — смиренный фон. Интересно, почему среди этих игрушек не так уж много синих? Потому что нужный холод дают серебро и блестящая белизна, или синий чем-то не вписывается в такой, детский мир? Вроде бы сапфир — воплощенная красота, но холодноват он, что ли?

Как бы то ни было, получается, что мир, освещенный светом чуда — золотой, зеленый, алый. Белизна, серебро и прозрачность не дают ему стать миром богатства, то есть взрослых, а серое, бурое, коричневатое снимает с него всякую бравурность. Однако, что ни говори, он состоит из драгоценностей, как Новый Иерусалим.

5. Стоит ли читать Честертона

Пятьдесят пять лет я читала Честертон почти непрерывно и думала, что без него сошла бы с ума. Мне говорили, что скорее симптом сумасшествия — такая потребность в нем, но я не сдавалась. Конечно, я замечала, что иногда он пишет очень плохо, а иногда (что важнее) бывает пристрастным, скажем — восхищается всем, что только есть в католических странах или в «common people»; но не за этим обращаются к нему те, кто его любит. Много

раз они (мы) пытались объяснить, что же в нем хорошо, и снова объяснять я не буду. Однако недавно мне показалось, что нормальный человек его читать не станет.

У слова «нормальный» несколько значений, и одно из них — практичный, бойкий, вписанный в этот мир, другое — скептический, горький, лишившийся иллюзий. Тогда нетрудно сказать, что Честертон писал не для них, точнее — для них, но чтобы изменить их, разбудить. Мир, где царствует и решает Бог, видят только те, кто посмел стать беззащитным и благодарным, как ребенок. У Честертона мир именно такой, и он надеется, что, попав туда через его книги, не знающий радости читатель «умалится, как дитя». Те, с кем это случилось, преданно любят его. Но много ли таких людей?

Сейчас, показалось мне, любить его особенно трудно. Словесность стала очень странной. Есть Сцилла — невыносимые, ничем не окупленные прописи. Есть Харибда — полная похабщина, очень скучная независимо от того, высоколобая она или низкопробная. Может быть, книги свое отжили, как считал Маклюэн? (Кстати сказать, случайная встреча с Честертоном поразила его и спасла от отчаяния). Честертон сам писал в «Диккенсе», что «выдумки в прозе» могут оказаться временными, жили без них люди — и опять проживут. Однако книги еще существуют, и где-то вне Сциллы и Харибды, наверное — ближе к Сцилле, мотается устаревший и несообразный писатель.

А все-таки я в это не верю. Неужели случайно какие-то, пусть немногие люди, спасались именно им? Некоторые из них бережно издают убыточное собрание его со-

чинений, конца которому не видно, и научный журнал, и журнал восторженный («Gilbert!»). Для них, как, собственно, и для меня, мир его — райский, а не картонный, и сам он — мудрец и пророк, а не наивный, назойливый моралист, о котором смешно и говорить после Джойса, блумсберийцев и тех, кто продолжил их традицию.

И вот что странно — здесь, у нас, его непрерывно издают, как только стало можно выйти за пределы небольшого набора «Фишеров», «Браунов» и «Пондов». Появились два пятитомника, два трехтомника (включая этот), несколько толстых однотомников, множество тонких книжек. Значит, кто-то в нем нуждается? Детективов хватает и без него, да и выходят далеко не только детективы. Неужели он действительно будит людей чаще, чем кажется? Подсчитать это невозможно, но есть еще один довод: утомившись и от Сциллы, и от Харибды, читатели кинулись во всем мире на немудреные детские книжки про Гарри Поттера. Наверное, Честертон прав, «человек — это человек». Из нас нельзя сделать ни искусственных ангелов, ни отсталых подростков, которым интересны только полубезумные непристойности. Люди нормальной этого (уже в третьем смысле слова). Им все равно не обойтись без справедливости, милости, простоты и той красоты, которую «в белом свете чуда» видит хороший ребенок. Тогда Честертон не только стоит, но и очень нужно читать.

Недавно в одном солидном журнале была анкета — разных людей (тоже солидных, но никак не глупых) спрашивали, кого они считают лучшим писателем века, а кого, по их мнению, в свое время перехвалили. Конечно,

лучшими почти у всех оказались Кафка, Пруст, Джойс, Борхес, ложными кумирами — Томас Манн, Хемингуэй, даже Драйзер, но здесь и сейчас нам важно, что ни один человек, ни в какой связи, не назвал Честертона¹.

Может, его и нельзя называть? Другая эпоха, какие-то нелепые люди... В конце концов, об Уэллсе и Шоу тоже никто не вспомнил, но тут есть разница. Английский журналист и мыслитель Малькольм Маггридж писал, что предсказания тогдашних прогрессистов давно провалились, и это как бы не считается, а то, что говорил Честертон, чем дальше, тем вернее, но не считается и это. Казалось бы, прогрессистов теперь мало, куда ни посмотри — консерваторы, если не фундаменталисты, но Честертон признали «своим», и то ненадолго, только самые простодушные из них.

Видимо, разгадка — именно в этом слове. Честертон — не взрослый, тем самым — чужой. Евангельские слова о детях толкуют на все лады, особенно — с тех пор, когда снова решили, что человек и так, без Бога, вполне мил или (что на практике — то же самое) безнадежно ужасен. Восхищаются разными, чаще — мнимыми свойствами детей, которые к тому тексту не имеют никакого отношения; но вряд ли хотели бы вернуться к детской беспомощности, доверчивости и простоте. Именно этих качеств мир, в отличие от Евангелия, старается избежать, хотя охотно их имитирует, когда они входят в моду.

¹ При наборе предисловия оказалось, что компьютерный словарь знает этих авторов, но не знает Г.К.Честертон (прим. наборщика).

У Честертона они настоящие, и на этом ему конец. Все-рвез его принять нельзя. Если человек живет в «этом мире», а «религия» для него — особый слой, вроде пены, беззастенчивый обитатель того царства, где правит Бог, по меньшей мере неудобен. Смотрите, как прижились еще в самиздате проповедники, обращающиеся к разуму, скажем, — Клайв Стейплз Льюис, а этот толстый младенец, обращающийся к сердцам и утробам, скорее все-таки раздражает.

Вроде бы он «блестящий полемист», «поборник разума» но людей не проведешь. Доводы его убедят только тех, кто и сам махнул рукой на взрослую мудрость. Действует он, если действует, как свет или запах, перенося в какое-то другое пространство, где «все наоборот». Тут легко подумать, что это — очередная попытка вывести за пределы добра, но любое из недавних поколений, игравших в эту игру, быстро начинает скучать — он строг к себе и ангельски чист. Словом, если бы все такие слова не были обесмыслены религиозным новоязом, можно было бы сказать, что Честертон — христианин, и этим ограничиться.

Как и все христиане, он «не больше Господина своего»: его и слушают, и презирают. Теперь издается безразмерное и очень убыточное собрание его сочинений со скрупулезнейшими комментариями и блистательными статьями. Работают над ним несколько человек в Англии и Америке; и для каждого из них Честертон — что-то вроде личного ангела. Легкая приязнь к смешному детективщику, вероятно, ушла в прошлое и в любом случае держится ненадолго. Остаются те, кому он перевернул душу, помог выжить — и те, кто пожимает плечами. Для кого мы издаем этот пятитомник, гадать не стоит. Главное, чтобы слова

блаженного Гилберта не скользили по сознанию, как давно и успешно скользят слова многих проповедников.

Если этого не случится, мы узнаем от него много хороших вещей, которые, слава Богу, не он выдумал. Окажется, что совсем не нужно мрачное противостояние верящих во что-то фанатиков и терпимых скептиков. Честертон милостив, склонен к игре, и совершенно вверен истине. Узнаем мы и то, что благодарная радость может сочетаться с реалистичнейшим представлением о глубинах зла. Замечу, что Честертон, в отличие от многих нынешних кумиров, только указывает на зло, но в него не погружает, а уж он знал его не хуже их, и сошел бы с ума, если бы не внезапное чудо, показавшее ему мир «на ниточке милости Божьей».

Бессмысленными станут и гаданья, кто же лучше, «высококолый» или «простой» Для него есть возвысившие себя — и унижившие, больше ничего, как в Евангелии. Смешно описывать это здесь, статьи заведомо рассчитаны, все-таки, не на «сердца и утробы». Честертон знал, что в человеке, и как легко возникают у нас слепые пятна. Собственно, все статьи о нем — только попытки от этих пятен уберечь.

Стоит узнать от него и о том, что порядок и свобода не противопоставлены друг другу. Свободу он защищал так, что его нередко (хотя и ненадолго) принимали за апологета лихой вседозволенности; ужас энтропии он знал так, что его всерьез цитировали какие-то неофашисты. Что он думал на самом деле, лучше узнать не из статей, а из его собственных книг.

Того, кто действует скорее на сердце, чем на разум, трудно уподобить стихам или музыке. Честертон был на редкость немзыкален, а стихи писал, иногда — очень хорошие.

Но дело не в том. Как он и предсказывал, людей, при всей нашей смехотворности и слабости, ничем не уничтожишь. И вот, после жутких десятилетий, в годы, очень похожие на то, что творится в его книгах, появились стихи, очень точно передающие самую суть его вестей. Тимур Кибиров пишет:

*Впрочем, даст Бог, образуется все. Ведь не много и надо
Тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки,
Как драгоценно все, как все ничтожно, и хрупко, и нежно,
Кто понимает сквозь слезы, что весь этот мир несуразный
Бережно надо хранить, как игрушку, как ёлочный шарик,
Кто осознал метафизику влажной уборки.*

6. Честертон о себе

*Я никогда не относился серьёзно к себе,
но всегда принимал всерьёз свои мнения.*

Только мы удивились, что никто не упомянул Честертона среди любимых или даже просто хороших писателей XX века, книги его стали появляться одна за другой. С 1999 по 2005 год издано больше двенадцати названий, среди них — один пятитомник и один трехтомник. Не совсем понятно, в чем тут дело. Можно предположить, что людям захотелось вспомнить разницу между добром и злом, не впадая из-за этого в менторское всезнание или насильственную добродетель. Какими бы ни были причины, Честертон издается; дошло и до «Автобиографии» (1936).

Понять по ней его биографию не очень легко. Иногда он чересчур подробен, иногда пишет (точнее, диктует)

почти скороговоркой. Статей о его жизни у нас немало, но для верности напомним самое главное.

Родился он в просвещенной, уютной семье типичного викторианца, вроде мистера Кармайкла из «Маленькой принцессы». Собственно, именно его отец — человек с золотым ключом, что явствует и из книги; но, видит Бог, сын это унаследовал. Когда Гилберт еще не ходил в школу, они переехали в новый дом, который (с соответствующей табличкой) можно увидеть в Кенсингтоне. Это очень зеленое место, рядом с парком, но за домом есть еще и свой сад. Гилберт и Сесил, родившийся на пять с половиной лет позже, много играли там — и сами, и с отцом.

Учился Честертон в лучшей гуманитарной школе Англии (а возможно, и мира), основанной при соборе св. Павла Джоном Колетом в том самом году, когда на престол взошел Генрих VIII (1509), или, по другим данным, — в 1512. Как учился юный Гилберт, как он спал на ходу, он описал сам. Прибавим немного: один его соученик говорил позже, что он был кротким, как старая овца; а директор школы увещевал миссис Честертон, испугавшуюся странностей своего сына: «Шесть метров гения, мэм, шесть метров гения».

О кружке замечательных «полинцев» Честертон тоже пишет сам. Это вообще люди особые; в восьми других лучших школах гораздо больше спорта и кодекс там более «киплинговский» (точнее, арнольдovsky¹). По-

¹ Томас Арнольд (1795—1842) — английский педагог. В 1828—1842 гг. был директором одной из старейших школ, Рэгби, и разработал систему реформ для престижных классических школ, ориентируясь на идеал джентльмена.

линцы по определению чудаки. Когда-то среди них был Мильтон, через тридцать пять лет после Честертона — будущий сэр Исайя Берлин.

Кончив школу, Честертон не поехал в Оксфорд или в Кембридж, что для выпускника Сэнт-Полз само собой разумеется. Позанимавшись живописью, и послушав лекции в Лондонском университете, он неожиданно (или промыслительно) попал в «причудливое предместье» Лондона, Бедфорд-парк, где влюбился раз и навсегда в свою будущую жену.

С осени 1896 года, когда он впервые туда пришел, до 1901-го, когда 28 июня они с Франсис поженились, Честертон очень много писал, почти не печатался, зарабатывал рецензиями для издательств. На самой границе веков его эссе стали появляться в газетах, а к свадьбе он был исключительно популярен. Как это ни странно для нас, свадьбу откладывали, пока он «не мог содержать семью», хотя его отец был крупным дельцом. Мало того: сперва Гилберт и Франсис сняли квартиру за трехэтажным родительским домом (где жили, кроме слуг, три человека), но через полгода переехали с маленькой прелестной Эдвардс-плейс — это просто какие-то заросли в центре города — на южный берег Темзы, в более скромный Баттерси.

О любви англичан к Честертону в начале века писать не стоит, много раз написано, да и сам он говорит, что пока его считали шутком, все были довольны, а когда догадались, что это всерьез, — призадумались. Такая перемена совпала и с переломом времен, начался «настоящий XX век». Зимой 1914—1915 гг. сорокалетний Честертон загадочно болел, несколько месяцев не приходя в созна-

ние. Сразу после заключения мира умер во французском госпитале его брат; и с тех пор он выпускал его боевитую до сварливости газету «Уитнес», приводя в отчаяние многих, кому хотелось, чтобы он писал больше романов и рассказов. Только когда в 30-х годах умерла Мэри Луиза, мать Гилберта и Сесила, газету на время спасло большое наследство; но со смертью самого Честертона она почти сразу выдохлась. Дело не только в деньгах, хотя Честертон ради газеты буквально убивал себя; она его меняла, может быть, — портила. Когда читаешь ее, нередко огорчаешься, что он слишком старательно следовал линии Беллока и брата, людей далеко не таких ангельских, как он.

Детей у Честертонов не было, это их очень огорчало, и, далеко за тридцать, Франсис делала какую-то неудавшуюся операцию. Большим горем была смерть брата. И все-таки разве сравнишь его жизнь с тем, что бывало здесь, у нас! Однако такие сравнения бессмысленны. Честертон умел благодарить за любую мелочь, но он ведь христианин, а не пошлый оптимист, и страдал ровно столько, сколько радовался. Он был больной, с трудом двигался, хотя казался легким и прыгучим, вечно отекал и опухал. Примерно с 1930 года он стал диктовать, а не писать, и часто засыпал при этом. Судя по всему, мерзейшее десятилетие века оказалось ему не под силу. Гадать, что было бы, если бы он все еще летел или шел по водам, тоже бессмысленно — во втором детстве, кот рое он так радостно предвкушал, Честертон нередко ступал на землю. Он очень старался быть не просто христианином, а правильным католиком. Это — отдельная тема, и невеселая. Дело, конечно, не в конфессии, а в той странной и неустранимой

порче, которой не избежала ни одна часть христианства. Если приводить примеры из того исповедания, которое избрал Честертон, мы найдем не только душераздирающее покаяние Иоанна-Павла II в марте 2000 г., но и многое из того, что лучше всех описал Христос, скажем — в Мтф 23. Многих — Пеги, Бернаноса, доминиканцев XX века — это мучило. Честертон, толстый и кроткий, как Анджело Джузеппе Ронкалли, в отличие от «добрého Папы Яна», этого не замечал. Одни его похвалят, другие — удивятся, а еще лучше — огорчатся. Но спорить тут не стоит.

Чуть больше половины мерзейшего десятилетия, 30-х годов, физически он еле жил. Ощущение такое, что он падал, а его поднимали, нередко — побоями. В последние недели его совсем замучили. Он уже лежал без сознания, а Франсис и Дороти, приемная дочь, только успевали отвечать, что там-то и там-то он выступить не сможет. Очнувшись и *поздоровавшись* с обеими, он улыбнулся — и умер.

Хочется рассказать и про похороны, и про обе заупокойные мессы — дома и в Вестминстере. Когда отслужили первую, Беллок спрятался от всех и плакал в кружку пива. Гроб перекрещивал крест из алых роз, на которых держалась роса. Ко второй мессе Пий XI прислал соболезнование, называя Честертонa «Защитником веры» (составил текст Эудженио Пачелли, будущий Пий XII). В Вестминстерском соборе монсиньор Роналд Нокс сказал сонет вместо надгробного слова, кончающийся такими словами:

*А он, едва явившийся с Земли,
У врат небесных терпеливо ждал,
Как ожидает истина сама,*

*Пока мудрейших двое не пришли.
«Он бедных возлюбил», — Франциск сказал,
«Он правде послужил», — сказал Фома¹.*

Через некоторое время на надгробной плите выбили стихи Уолтера де ла Мэра, написанные, когда Честертон был жив. Начинаются они словами «Рыцарь Святого Духа», а кончаются так:

*Мельницы зла не дают опустить копьё,
Милость и мир — в отчаянье придти.*

Тем, кому копьё кажется более христианским, чем милость и мир, может понравиться эта книга, может и не понравиться, но сейчас я пишу не для них. Они и так, без честертоновских подсказок, любят Деруледа и не ужасаются духу «*Accion Francaise*». Однако, слава Богу, есть и будут люди, которых этот дух хотя бы настораживает. Их в «Автобиографии» опечалят некоторые куски. Именно опечалят, а не вызовут то сектантское возмущение, которое больше похоже на условный рефлекс. Рефлекс этот развит не у тех, кто, как Честертон, «больше всего любит свободу и английские стихи»; те же, у кого он развит, нетерпимы, догматичны, высокомерны. Словом, я не прошу прощения за фразы или абзацы, которые могут огорчить — Честертон в этом не нуждается, а искренне печалюсь, что он вступал в перебранку на этом уровне. Почти все, что он написал, а главное — то, каким

¹ Перевод А.Якобсона.

он был, показывает, что обычно у него хватало простоты и мудрости, чтобы туда не спускаться.

7. Капли из ведра

Введение

Нередко говорят, что к каждой поговорке есть другая, противоположная, и только вместе составляют они «народную мудрость». Что-то подобное видим мы в Писании, особенно в Новом Завете, но на совсем другом уровне, не на плоскости. Отец Александр Мень говорил: «на шаре». Метафор много: другие измерения, другие геометрии; но главное — другой, как говорят католики, *ordo*. Многие припомнят и предложенный Бором «принцип дополнительности».

Когда молодой, простодушный Джузеппе Ронкали¹ стал секретарем епископа, выбравшего его отчасти именно за простоту, он чуть ли не из первой беседы узнал, что «или—или» надо заменить на «и—и». Ровно о том же и в те же годы писал Честертон, посвятивший этому лучшую главу своей «Ортодоксии». Легко изложить это на языке аристотелевских трихотомий, но будет неполно. Можно сослаться и на христианское учение о царском пути. То, о чем пишет Честертон и говорит епископ Тедески², будто бы противоречит словам Христа

¹ Анджело Джузеппе Ронкали (1881—1963) — Папа Иоанн XXIII (с 1958 г.).

² Джакомо Мария Радина-Тедески (1857—1914) — епископ Бергамский с 1905 г. Ронкали был его секретарем в 1905—1914 гг. В 1916 г. опубликовал его биографию.

о «Да»—«Да», «Нет»—«Нет», на самом же деле составляет с ними именно такую пару.

Сейчас нас занимает одна из этих пар. Прежде чем ее назвать, отступим немного, вспомнив наши бесцельные споры.

Когда кто-то хочет выделить какой-то (обычно — свой) народ, он часто устраняет для начала слова об эллине и иудее. Да, конечно, говорит он, в определенном смысле их нет, но ведь в жизни они есть, точно так же, как есть женщины и мужчины. Это верно и осталось бы в числе пар, о которых мы только что говорили, если бы автор не переходил, заметно или незаметно, грубо или тонко, к выделению и восхвалению избранного им народа (теперь это делают и с полами).

Тогда и вспомнишь слова, которые служат здесь противовесом:

«Вот, народы — как капли из ведра и считаются как пылинки на весах» (Ис. 40:15).

Заметим, что это не противоречит другой части «пары» — каждая капля и песчинка драгоценна для Бога. Ключевое слово — «каждая». Конечно, образ Божий, человек (тоже — каждый) гораздо драгоценней.

Честертон, едва ли не лучше всех проповедавший принцип «и—и», сам его нарушил. Конечно, он прекрасно знал то, о чем говорят Димбл и Рэнсом в «Мерзейшей мощи» К.С.Льюиса¹. Димбл спрашивает Рэнсома, что такое Логрис, Логрия, а тот объясняет, что это лучшее,

¹ «Мерзейшая мощь» (1945) — третий роман «Космической трилогии» К.С.Льюиса (1898—1963).

Божье в Британии, существующее как бы внутри (или наравне) с обычной Британией, мирской. Увлечшись примерами — Пиквик, Уэллер (я прибавила бы лорда Эмсворта¹), Димбл начинает умалять другие страны — и спохватывается.

Конечно, спохватывался и Честертон, например, в эссе «Француз и англичанин». Сбой получался тогда, когда он сравнивал протестантскую страну с католической; правда, Англия — не католическая, но очень уж он ее любил.

А может быть, я ошибаюсь? Надо бы это проверить. Удобное поле эксперимента — балтийские страны, четко разделяющиеся на очень протестантские и очень католические. Кроме Эстонии, он писал обо всех, а в Польше был. Можно сказать, что был он и в Литве — ее сердце, Вильно, входило тогда в Польшу.

Разбираясь в том, что он о них думал, мы постоянно сталкивались с боковыми проблемами и потому делим этот очерк не по странам, а несколько иначе.

1. Мир Франциски

Осенью 1896 года двадцатидвухлетний Честертон попал в свой укомный Логрис. «Причудливое предместье» описывали много раз, лучше всего — он сам, в «Четверге» и в «Автобиографии».

¹ Лорд Эмсворт — герой десяти романов П.Г.Вудхауза (1881—1975), рассеянный, кроткий и вконец замученный властными сестрами.

Вот — начало «Четверга»:

«На закатной окраине Лондона раскинулось предместье, багряное и бесформенное, словно облако на закате. Причудливые силуэты домов, сложенных из красного кирпича, темнели на фоне неба, и в самом расположении их было что-то дикое, ибо они воплощали мечтанья предприимчивого строителя, не чуждавшегося искусств, хотя и путавшего елизаветинский стиль со стилем королевы Анны, как, впрочем, и самих королев. Предместье не без причины слыло обиталищем художников и поэтов, но не подарило человечеству хороших картин или стихов. Шафранный парк не стал средоточием культуры, но это не мешало ему быть поистине приятным местом. Глядя на причудливые красные дома, пришелец думал о том, какие странные люди живут в них, и, встретив этих людей, не испытывал разочарования, предместье было не только приятным, но и прекрасным для тех, кто видел в нем не мнимость а мечту.

Так и только так можно было смотреть на занимающее нас предместье — не столько мастерскую, сколько хрупкое, но совершенное творение. Вступая туда, человек ощущал, что попадает в самое сердце пьесы».

Вот — часть VI главы из «Автобиографии»:

«Однажды я бесцельно направился на запад, через Хаммерсмит, быть может — к садам Кью, и по какой-то причине или без причин свернул в боковую улочку. Вскоре я оказался на пыльной полянке, по которой бежали рельсы, а над ними торчал один из тех непомерно высоких мостов, которые шагают через дороги, словно человек на ходулях. Чтобы увенчать бессмысленную прихоть, я влез

на заброшенный мост. Был вечер; наверное, тогда я и увидел над серым ландшафтом, словно алое закатное облачко, артистическое предместье, именуемое Бедфорд-парком.

Как я уже говорил, нелегко объяснить, что такие привычные вещи казались причудливыми. Нарочитая затейливость уже не трогает, но в те времена она поистине поражала. Бедфорд-парк, согласно замыслу, казался заповедником для богемы, если не для изгоев, убежищем для гонимых поэтов, укрывшихся в краснокирпичных катакомбах, чтобы погибнуть на краснокирпичных баррикадах, когда мещанский мир попробует завоевать их. Победу, однако, одержал не мир, а Бедфорд-парк. Коттеджи, муниципальные дома и лавочки кустарных изделий уже переняли ту неприхотливую живописность, которая считалась тогда вычурной прихотью богемы; а вскоре, насколько я понимаю, ее подхватят тюрьмы и сумасшедшие дома. Но в те давние дни клерк из Клепхема, получив такой причудливый домик, решил бы, что жить в нем может только сумасшедший. Эстетский эксперимент поставлен не так уж давно. В нем была какая-то общинная отделенность — свои магазины, своя почта, свой храм, свой кабачок. Мы ощущали, пусть неосознанно, что в этом предместье есть что-то призрачное, театральное, что это отчасти сон, отчасти — шутка, но никак не шарлатанство».

Я полюбила Бедфорд-парк больше пятидесяти лет назад и наконец в него попала (август 98-го). Едешь в метро до Хаммерсмита, проходишь Чизик¹, удерживаясь от

¹ Чизик (по-русски обычно — «Чизвик» или «Чизуик») — район на западе Лондона, с юга выходит к Темзе.

искушения свернуть к реке, и тебя вознаграждает квартал, уютный и причудливый даже для Англии. Поневоле вспомнишь Вильнюс, такое тут все маленькое, а красный кирпич — как храм св. Анны. Кстати, домики эти — в стиле другой Анны, королевы (1702—1714). То же имя, хотя и позже, прославил церковь в Сохо, где Уильямс¹, Льюис, Сэйерс² устроили беседы с ищущими; там Д.Л.С. и похоронена. Как бы то ни было, Честертон был бы рад, если бы покровительницей «предместья» стала бабушка Христа.

Теперь я езжу туда каждый раз, что бываю в Англии. Однажды стояла какая-то новомодная, неанглийская жара, и я, не заходя далеко, села в кафе «Троица» на углу, почти рядом с домиком Франсис Блогг. Молодой хозяин, как-то странно связанный с Литвой на уровне дедов, и не слышал про уголок эстетов, где жили Йейтс и Писарро, тем более — про толстого молодого человека, полюбившего здешнюю барышню, которая одевалась в духе своего квартала, знала его жаргон, но эстеткой не была.

Удивительно, что юная Франсис похожа на литовку. Судя по другим фотографиям, она хрупкая, но на первом их снимке, в 1898 г., пошире своего жениха. И глаза такие бывают в Литве — раскосые не по-восточному, без монгольской складки. Однако больше всего похожа она на саму Литву, точнее — литовскую Логрию. При всей

¹ Чарльз Уильямс (1886—1945) — английский писатель, автор романов, которые Т.С.Элиот назвал «мистическими триллерами».

² Дороти Ли Сэйерс (1893—1957) — английская писательница, автор детективов и религиозных пьес, переводчик «Божественной комедии».

своей тонкости и кротости она — такая здравая, что ее трудно сравнить с невесомой и причудливой феей. Интеллигентная, даже интеллигентская барышня на удивление близка лучшему, что есть в крестьянской стране, которую Евгений Рейн назвал «грубошерстно-льняной».

Еще тогда, в годы помолвки (1898—1901) Честертон написал стихи о цветах, красках. «Моя госпожа» надевает то такой, то сякой наряд, а ему открывается красота этого цвета. Зеленый, среди прочего, являет «красу лесов», серый — смиренное сияние мха или пасмурного дня. Прочитала я это, живя в Литве, и — может быть, поэтому — восприняла как литовский пейзаж. Правда, намного позже, сидя в автобусе Оксфорд—Лондон, я думала, как похожи Литва и Англия.

В годы, когда об Оксфорде глупо было и мечтать (1966), мы с Томасом Венцловой делали доклад в Кярику¹ и назвали его, как тогда полагалось, «Моделью мира у Честертона». По законам тех лет мы выделили сколько-то «дифференциальных признаков», очень разных, а то и противоположных — для обычного мышления, но не для него: яркость и прозрачность, четкость и уютность, ту же прозрачность и плотность (это не все). Позже я писала об этом много раз и на все лады, а сейчас скажу одно: в такой самый мир ввела Честертон невеста. Многое он чувствовал и сам, но при всей своей странности и сложности был и традиционней, и растерянней ее. Во всяком случае, он удивился, когда узнал, что она не любит луну, предпочита-

¹ Кярику — городок в Эстонии, где в 60-х годах проходили летние симпозиумы по семиотике.

ет саду огород и, не сомневаясь, ходит в церковь. Радовало его и то, что она ничуть не затронута странной мистикой своих друзей и соседей, даже Йейтса. Может легко возникнуть образ здоровой девушки «без всех этих штук», если бы мы не знали, сколько было в ней свойств, которые Владимир Андреевич Успенский называет «сотканностью» а реликты советской ментальности дружно презирают. Она много болела, боялась пауков, была на грани безумия после смерти брата, никак не могла родить ребенка и очень от этого страдала. Конечно, в ней не было и намек на себялюбивые странности, разбившие столько браков. Она была истинной lady, и скромность не мешала достоинству, ранимость — стойкости. Сочетание несочетаемого, столь любезное ее мужу, определяло ее во многих отношениях. Даже тени свидетельствуют об этом — жена Сесила Честертон не одобряла ее и, когда ни Гилберта, ни Франсис давно не было, написала книгу об их семье, включая замечательных родителей. Франсис у нее не сто́ит своего мужа, не совсем его понимает, отстаёт от времени, а значит все это, что в отличие от автора она не была ни фэбианкой, ни феминисткой, ни победительницей.

Заметим, что Франсис любила все маленькое, и настолько, что собирала бирюльки. Наверное, не без ее влияния Честертон создал ту фразу, которая уже без него в конце 40-х стала названием книги, резко меняющей понятие об экономике: «Small is beautiful»¹. Маленькое для

¹ «Small is beautiful» (1973) — книга экономиста Ф.Э.Шумахера, ознаменовавшая среди прочего переход к постиндустриальному обществу.

Франсис не расплывчато или невесомо, а уютно и конкретно. Она растила овощи и цветы, любила собак. Они, сменившие друг друга, обе были скотчтерьерами — что может быть уютней и смешней, это почти свинки!

Честертон писал жене, а раньше — невесте, много стихов, посвятил ей длинную поэму, но изобразить ее в романе или рассказе, по-видимому, не мог. Розамунда в «Дон Кихоте», Розалинда в «Живчеловеке» у него бойкие. Сотканные Опал и Сибилла из рассказов о Брауне лишены радости и здравомыслия. Самая привлекательная из его героинь, леди Джоан, очень взрослая и усталая, а может — и надменная. Изображением Франсис часто считают сестру Грегори из «Четверга», но ее почти нет. Поистине — это еще один сюжет для честертоновского рассказа.

Лучше всего подходит жене Честертона слово, которое было похвалой в устах одной орловской крестьянки: тихая. Не «забитая», очень радостная и здоровая, но — тихая. Вот еще один честертоновский сюжет: о своей любви к Франсис Гилберт писал, где только мог, но в «Автобиографии» по ее просьбе сказано очень мало. Не вошли они и в число прославленных влюбленных, и не потому, что поженились, а потому, что «тихие». Ведь шумный Честертон тоже не бойкий и не важный. Простодушно-бойких он любил, как вообще своих common men, а вот ненавидел, даже слишком сильно для такого доброго человека, женщин того типа, который при нем стал входить в моду — важных, властных, самоуверенных. Баллада про такую даму поражает гневом и сарказмом. Правда, в довершение бед дама — благотворительница, она бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь, а этого

он не выносил. Другой даме, настоящей, он сердито сказал, что она принадлежит к расе победительниц.

В эссе «Вегетарианская индейка» он пишет: «...Пиквик, смешной и круглый как мало-мальски стоящий мир». В эссе «Оптимизм Байрона» мир оказывается еще и причудливым, неправдоподобным, как игрушка: «Когда мы видим огромный каменный цветок тропического леса [...], нам трудно поверить, что он не восковой. Когда мы видим крохотное тельце и гигантский клюв тропической птицы [...], нам кажется, что это игрушка, искусно выточенная и раскрашенная». А в «Четверге» Гэбриел Сайм видит в загадочном саду Воскресенья слона, мельницу, клюворога, пляшущий фонарь, пляшущий корабль, пляшущие яблони. Все это — и костюмы участников маскарада, и элементы нашего неправдоподобного мира.

Франсис была очень простой, но ее окружала и даже пропитывала эта драгоценная причудливость. Прост и причудлив домик ее семьи в Бедфорд-парке. Выйдя замуж, она ненадолго переехала на крохотную площадь, зеленую и заросшую, словно куст, которая буквально таилась за богатым домом Честертонов, в глубине квартала. Молодожены жили там недолго, по их кодексу это было им не по средствам. Заметим, что отношения с родителями были исключительно хорошими, но о том, чтобы жить в трехэтажном доме, где кроме них — три человека и слуги, не могло быть и речи. Словом, Гилберт и Франсис переехали за реку, в Баттерси, где жили, среди прочих, молодые журналисты, к примеру — прославленный позже Филип Гиббс, чью фамилию Честертон дал для смеха идиоту из «Кабака». Гиббс писал: «Над

нами жил большой человек, такой большой, что я иногда боялся, как бы он не продавил потолок и не расплющил нас. То был Честертон во славе своей толщины и в весеннем цветении своего великого дара».

Хотя именно такой или просто этот же дом привлекательнейшим образом описан у Вудхауза в «Билле Завоевателе», я не ждала, что он настолько причудлив и уютен. Казалось бы, «мэншенз», дом с квартирами, для англичан — большой компромисс, а какие там лестнички, какие цветы, как укромны четыре этажа с мансардами! Есть фото, где молодые Честертонны сидят в комнате перед очень широким окном, за которым — небо. Поневоле вспоминаешь, что Гилберт Кийт, когда только мог, описывал закаты. Не знаю, на запад ли выходили окна; судя по фасаду — да, дом обращен к западу.

Прибавим еще один честертоновский сюжет. Оказалось, что в этом самом доме живут и даже что-то сдают друзья моих друзей из Кройдона, у которых я останавливаюсь. В тот раз, когда я об этом узнала, загадочных жильцов не было. Хватит ли у меня смелости попроситься внутрь, если они будут?

Дом был для Честертона самым священным понятием в мире, и воплощала его Франсис. Очень давно, в темнейшее время, меня поразило, что он отождествлял дом со свободой. Особенно четко об этом сказано в песне из «Кабака», которая зимой 1951-го потрясла меня, как взрыв. Через 47 лет мы, уже в Оксфорде, разговаривали с Эйданом Мэкки, героически сохранившим и разобравшим честертоновский архив. Он спросил, какие стихи я больше всего люблю у Честертона, и, не дожидаясь ответа, предположил: «Из «Кабака». Я подивилась его чутью,

но ненадолго: он назвал «Английский пьяный путь», а на самом деле это — песня Патрика, где есть такие строки:

*Но люди еще проснутся, они испьют вино,
Ибо жалеет наш Господь свою больную страну.
Умерший и воскресший, хочешь домой?
Душу свою вознесший, хочешь домой?
Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь,
И тело твоё будет в крови, пока до дома дойдешь,
Но голос зовет сквозь годы: «Кто хочет еще свободы?
Кто хочет еще победы? Идите домой!»*

(Пер. А.Якобсона)

Тут удивился Мэкки. Для него дом и свобода всегда совпадали.

Это понятно, если понимать под свободой не «волю», а под Честертоном — не бездумного эксцентрика, аполгета незаконной игры. Кем-кем, а им он не был. Для него необычайно важна четкость, отделенность от хаоса. Потому и существует противоположная ошибка — его считают поборником сколь угодно жесткого порядка. Но об этом много писали и, надеюсь, соблазн развеян, если речь идет не о совершенно глухих людях. Сейчас и здесь важно другое: как ценна для него та особая защищенность, о которой он пишет в «Диккенсе»:

«Рождество — один из бесчисленных европейских праздников, суть которых — в соединении веры и веселья. Оно типично, особенно в Англии, и весельем своим, и даже верой. Его отличие от прочих праздников — скажем, Пасхи в других странах — сводится к двум чертам: с земной, материальной стороны в нем больше уюта, чем блеска; со

стороны духовной — больше милосердия, чем экстаза. Уют же, как и милосердие, — очень английская черта. Больше того: уют, как и милосердие, — английская добродетель, хотя нередко он вырождается в тупость, как вырождается милосердие в попустительство или ханжество.

Идеал уюта — чисто английский, и он очень присущ Рождеству, особенно Рождеству у Диккенса. Однако его на удивление плохо понимают. Его бал у мистера Феззивига («Рождественская песнь») плохо понимают в Европе, еще хуже — в современной Англии. На континенте нас кормят сырым мясом, словно дикарей, хотя старинная английская кухня требует не меньшего искусства, чем французская. В Англии царит новоявленный патриотизм, наделяющий англичанина всеми не английскими свойствами — китайским фатализмом, латинской воинственностью, прусской сухостью, американским безвкусием. И вот Англию, чей грех — слабость к знатным, а добродетель — добродушие, Англию, хранящую традиции веселых и великих елизаветинских вельмож, представляет во всех четырех концах света чудовищный образ мрачного невежи (во всяком случае, его мы видим в религиозных стихах Киплинга). Трудно создать уют в современном пригороде, и потому эти пригороды объявили его грубым и слишком материальным. На самом деле уют, особенно рождественский, прямо противоположен грубости. В нем больше поэзии, чем в саду Эпикура, больше искусства, чем во Дворце Искусств. Искусства в нем больше, ибо он стоит на контрасте — огонь и вино противопоставлены холоду и непогоде. Поэзии в нем больше, ибо в нем слышна вызывающая, почти воинствующая нота — он связан с защитой: дом

осадили град и снег, пир идет в крепости. Тот, кто назвал крепостью дом англичанина, не подозревал, насколько он прав. Англичанин видит свой дом как снабженное всем необходимым, укрепленное убежище, чья надежность, по сути своей, романтична. Ощущение это особенно сильно в ненастную зимнюю ночь, когда спущенная решетка и поднятый мост не дают ни войти, ни выйти. Дом англичанина священной всего в те часы, когда не только королю заказан вход, но и сам хозяин не может выбраться на улицу.

Отсюда следует, что уют — отвлеченное понятие, принцип. Закрывая все двери и окна так, что в доме нечем дышать, наши бедняки страдают за идею. Любитель чувственных усад не мечтал бы, как мы, о зимних празднествах в маленьких комнатах — он предпочел бы вкушать плоды в прохладных и просторных садах. Простая чувственность хотела бы ублажить все чувства. Для наших же добрых мечтателей необходим фон мрака и опасности; наше высшее наслаждение — радость, бросающая вызов, припертая к стене. В сущности, тут подойдет только слово «уют», а никак не «удобство». Слово «уют» говорит о том, что маленькое предпочитают большому и любят именно за то, что оно мало. Тому, кто справляет праздник, нужна хорошая комната — он бы и гроша не дал за хороший матрик. Конечно, в наше тяжелое время приходится бороться за пространство. Мы жаждем не эля с пудингом, а чистого воздуха. В ненормальной жизни иначе нельзя — нервным людям необходим простор. Но в наших отцах было достаточно широты и здоровья, чтобы жить по-человечески и не думать о гигиене. Они были достаточно крупны, чтобы уместиться в маленьких комнатах».

Дойдя до зимнего уюта, многие вспомнят не только Диккенса, но и Андерсена или Туве Янсен, очень уж все это подходит к северным странам. Но Честертон не ссылается на скандинавов, поскольку с ними случилась беда, они — протестанты. Об этом сейчас и поговорим, но до этого, словно картинки к главе, советуем прочитать те эссе, где особенно ясно описан мир Франциски.

2. Пир Бабетты

Редкая участь так незавидна и бесплодна, как споры о конфессиях. Чаще всего это и не споры, а сердитый диалог глухих, упрямо верящих, что их конфессия лучше других или просто единственная. Постараюсь этого избежать, тем более что мне свойственна противоположная склонность — забывать о различии исповеданий, все-таки носящих имя Христа. Постараюсь понять и тех, кто о нем забыть не может. К ним, собственно говоря, принадлежал Честертон.

Кажется, Мориак сказал, что зло в церковной истории — не грех Церкви, а грех против Церкви. Нечувствительность к этому злу ничуть не похвальна. Гнев перед жестокостью, самодовольством и лицемерием «верующих» переполняет и книги пророков, и речи Христа; перечитаем, например, Ис. 1, Ис. 58, Амоса, Михея, главу 23 от Матфея, да и всю Нагорную проповедь. Однако очень часто церковный человек не замечает этого зла в своей конфессии. Большое счастье читать покаяние Иоанна Павла II, хотя, как предвидел Спаситель, изменилось от этого немного. У кого ушей не было, у тех и нет.

Мэзи Уорд, биограф и друг Честертона, выросшая в католической семье, удивлялась, что он действительно видел только сияющую Церковь без пятна и порока. Он, неоднократно писавший, что глаза любви еще зорче глаз ненависти или что хороший сын не скажет «мать в порядке», когда она больна, имел в виду многое, чаще всего — патриотизм, но не Католическую Церковь. Собственно, об этом я и собираюсь сейчас писать, и будет мне очень трудно. Меньшая трудность — уши; поборники какой-нибудь одной конфессии не слышат уточнений и объяснений. Большая — попытка сохранить не беспристрастие, чувство холодное, а любовь ко всем сокровищам христианства. Это очень сердит людей, но все же — попробую.

Однако сперва расскажу еще один честертоновский сюжет: дальнейшие соображения относятся только к последним четырнадцати годам его жизни. Католиком он стал в 1922 году, умер — в 1936-м. Многие полагают, что мог он умереть в 1914-м, когда тяжело болел, — все лучшее было написано. Это не совсем так, скажем — еще нет «Франциска» и «Вечного человека», но лучшие Брауны и лучшие романы уже были (даже первые главы «Дон Кихота»), не говоря об «Ортодоксии» и «Чарльзе Диккенсе». «Ортодоксия» же, как книга К.С.Льюиса, могла бы называться «Просто христианство». Словом, сюжет — в том, что «христианство без разделений» едва ли не лучше всех представлял сам Честертон до 48 или хотя бы 40 лет. Молодую Дороти Сэйерс его книги спасли от религиозного кризиса, но ей и в голову не пришло покинуть Church of England. Можно с той или иной натяжкой выявить католический дух в его сравнительно ранних книгах, но луч-

ше этого не делать. Очень уж надоела софистика в церковных спорах.

Конечно, католик — отец Браун. Еще в 1904-м Честертон поразил его прототип Джон О'Коннор, но объединяют этих патеров вера в разум и неожиданное знакомство с глубинами зла. Кротостью и неуклюжестью Браун напоминает архидьякона из «Войны в небесах» Чарльза Уильямса (точнее, тот напоминает Брауна, он создан позже). Но архидьякон — англиканский. Мало того, он упорно спорит с активно-католическим герцогом, поначалу — весьма нетерпимым, а защищает не англиканство, но христианство.

Словом, речь пойдет только о позднем, послевоенном Честертоне. Почти все, что обращено против Church of England, лютеранства, кальвинизма и других протестантских церквей, он написал за последние четырнадцать лет.

Чтобы лучше его понять, очень помогает повесть Карен Бликсен¹ «Пир Бабетты». Она вообще удивительно хороша, а в частности — редко где так подчеркнута разница между католичеством и протестантством. Две дочери пастора, красивые, добрые и одаренные, отказываются одна — от замужества, другая — от оперной сцены и добродетельно, скромно, одиноко живут в маленьком датском селенье. К ним попадает француженка, бежавшая в дни Коммуны. Пугаясь собственной невоздержанности, они берут ее в служанки, и она им верно служит, стряпая что-то скучное и невкусное. Внезапно она получает много денег и устраивает пир, на котором, едва ли не впервые, в се-

¹ Карен Бликсен (1885—1969) — датская писательница, известная и под именем Исаак Динесен. «Пир Бабетты» издан в 1952 г.

лень воцаряются милость и радость. Смягчаясь на глазах, люди легко принимают и друг друга, и явных чужаков — знатного генерала, оперного певца. Мегафоном Божьим оказывается радость, а не суровое страдание, причем совершенно бескорыстная — служанка тратит на этот пир все свои деньги и остается на чужбине, в услужении.

Прочитав эту повесть лет 10 назад, я подумала: «А Толкин прав, Льюис — очень протестантский со своей апологией страдания». Зато Честертон, перечисляя протестантские отказы — от вина, от веселья, от сигар, — говорит, что отдать надо просто все, а уж Бог вернет с избытком, что надо. Вот кому «Пир Бабетты» очень бы понравился, тем более что мегафон тут — не просто радость, а сакральная радость трапезы. Как и «добрый Папа Ян», он относился к совместной еде благоговейно. Когда великий Папа был нунцием в Париже сразу после войны, он стал собирать у себя за обедом людей из разных партий. Успех был намного больше, чем ожидали.

Словом, католичество Честертона глубже и полнее протестантства из-за своего халкидонского духа, для которого так священны человек и его трогательная жизнь. Католические сообщества, тем самым — страны, он считает чем-то вроде Каны Галилейской. Говоря об Испании в своей последней книге («Автобиография»), он рассказывает, что испанские отцы в отличие от английских бурно выражают свою нежность к детям, хотя, очень может быть, дело тут не в католичестве, а в том, что Испания — южная страна, а мальчик и отец — не из джентльменов. Как бы то ни было, сцена эта перекрывает для автора, да и для читателя все, что могло бы насторожить в испанской жизни, или, по меньшей мере, в испанской истории.

В протестантских странах ему неприятны сухость, жесткость и вообще недостаток тех свойств, которые он сам же перечисляет, хваля католическую культуру — приветливости, учтивости, веселости, милости.

Наверное, его бы порадовал бергмановский фильм «Фанни и Александр» — и бестолковая нежность главной семьи, и сцена чуда, которую в десятый раз нельзя смотреть спокойно, и страшный дух епископского дома. Тут мы останавливаемся. Что говорить, искаженная вера именно такова, но встретить ее можно везде.

Казалось бы, что меньше похоже на это, чем детский рай Литвы, и почти гонимое католичество, и то, о чем (уже про Польшу) писала Наталья Горбаневская в декабре 1981 года:

*...Видно, Господь до конца возлюбил
Эту равнину,
Видно, у Господа Бога для них,
Словно для Сына,
Нет других проявлений любви,
Кроме распятия.*

Так я и жила лет пять в Вильнюсе и в литовских деревнях, но вдруг, остановившись перед окном, где лежали на вате звезды и ангелы, подумала, что и здесь я — не в раю, а скорее, в Алисином саду, где, как ни прекрасен он сквозь решетку, есть и герцогиня с королевой.

Именно тогда или чуть раньше я переводила «Св. Фому Аквината», а Честертон там пишет: «Августин был прав, но не совсем». По-видимому, как и все мы, сам он тоже «прав не совсем». Именно поэтому он кажется многим каким-то несерьезным. Вот уж нет, у него все пре-

дельно окуплено! Зло он знал изнутри, пережил в юности глухое отчаяние и мерзкие искушения, страдал (уже без жути) и позже, но, оглушенный мегафоном радости, преображал в своих книгах скорбь и скуку жизни. Слава Богу, искренность и доброта спасли его от «оскорбительного оптимизма за чужой счет». Может быть, поэтому он его не находил и в самом опошленном католичестве.

Совершенно другое дело — католичество непошленное. Ступать на минное поле я не буду, и не только по малодушию, а скорее потому, что, сопоставляя конфессии, обидишь людей и не добьешься ничего. Тех, кого хотя бы удивляет его непотопляемость, его способность воскресать в покаянии (не говоря о названных выше свойствах), можно отослать к статьям и книгам Уильяма Одди, сотрясающего Англию своими призывами к Roman Option¹. Бывший англиканский священник, он — один из крупнейших в мире специалистов по Честертону. Он даже внешне похож на Честертона, но в своей апологии, если это возможно, еще воинственней. Прибавлю для ясности, что сам по себе он очень добрый, спасает зверьков и посылает мне книги Роуз Макколи², английской Тэффи, о религиозном значении которой пишут ученые.

Не решив в отличие от него нерешаемой загадки, вернемся к Честертону. К счастью, мы говорим о странах, а не о конфессиях, и можем сказать одно: обосно-

¹ «Выбор в пользу Рима» (название его главной книги, изданной в конце 90-х годов).

² Роуз Макколи (1885—1958) — английская писательница, автор очень своеобразных романов, которые можно назвать и юмористическими, и религиозными.

ванно или нет, Честертон почти обошел красоту и уют скандинавских стран, где есть не только бергмановский епископ с его домочадцами, но и особая, северная, детская радость, сочетающая смех и уют. Пишем «почти», потому что Честертон был справедливым. В отличие от Беллока он искал и ценил не свою идеологию, а правду. Почитаешь обличения протестантства и вдруг в рассказе «Последний плакальщик» видишь такие слова:

«— Почему вы пришли ко мне? — спросил генерал Аутрэм. — Я убежденный протестант.

— Я очень люблю убежденных протестантов, — сказал отец Браун».

3. Удел Девы Марии

Как бы то ни было, для Честертона нашлись две идеальные страны, Польша и Литва. Этому способствовали разные их свойства.

Прежде всего они, как в известной сказке, были и победительницами, и побежденными. Честертон прямо и явно сочувствовал слабым, на этом основано его отношение к англо-бурской войне. Польша и Литва долго ждали свободы, а несколько раз пытались ее отвоевать, что радовало его подростковую воинственность. Мало того, Польше это удалось, причем тогда, когда боролась она не с рыхлой русской империей, а с Красной армией, которая воплощала для Честертона самый дух зла. Польша — не маленькая, обычная страна Европы, но по сравнению со страной, которая сменила эту империю, она была Джеком Грозой великанов, и произошло с ней

примерно такое же чудо, какое описал Честертон в соответствующем эссе (см. «Великан»).

С Литвой обошлось легче, она просто получила свободу, зато в отличие от Польши она невелика. Кончая «Автобиографию», Честертон говорил (он ведь диктовал, а не писал в эти годы), что «всегда защищал права маленьких стран и бедных семейств». Литва была сравнительно бедной и, уж точно, маленькой. А главное, она была крестьянской, мало того — фермерской (если называть фермой хутор), невольно воплощая замысел странной партии, называвшей себя сообществом дистрибутистов.

Оформилась она в 1926 году, но соответствующая утопия описана раньше, в «Охотничьих рассказах» (1925). И книга, и сообщество необычайно привлекательны, и трудно решить, выполнимо ли все это. Я и не могла, пока не прочитала статью Юлии Латыниной. Мы собирались издать «Рассказы» отдельной книжечкой и попросили Юлию Леонидовну написать предисловие. Книжка не вышла, статья лежит, а сказано там, что установить крестьянское общество под лозунгом «Три акра и корова» может только по меньшей мере авторитарная власть. Вот уж чего не хотели бы и мы, и Честертон при всех его фразах в духе Беллока, к счастью — все-таки редких.

Собственно, мы дошли до того тупика, в котором оказался Честертон 20-х и 30-х годов. Слава Богу, тридцатые он прожил наполовину и умер ровно за месяц до испанских событий (14.VI—16.VII 1936 года). Ему не пришлось справляться хотя бы с этим соблазном. Человеку, который «больше всего на свете любит свободу и английские стихи», было бы нелегко даже с сотнями оговорок

хвалить Франко. Английское движение Освальда Мосли его ничуть не привлекало при всей своей претензии на рыцарственность. О нацизме нечего и говорить, он сразу сравнил Гитлера с Иродом. Но Франко защищал Церковь, которую действительно истязали его противники. Словом, трудно угадать, что бы тут делал Честертон; вряд ли он решился бы на подвиг Бернаноса, сокрушавшегося над злом франкизма в своих «Кладбищах при луне».

Относительно пристойные режимы межвоенных Польши и Литвы не бросали вызова его милосердию. Однако, чтобы лучше все представить, отойдем немного в сторону. Польша все-таки победила советскую власть не так, как рассказано в «Великане». Описано там, кстати сказать, совершенно реальное явление, которое происходило в те самые годы, когда в самиздат пошла статья «О Польше», а в сборнике появился «Великан». Историкам еще придется вспоминать и объяснять, если смогут, удивительное начало 80-х, прошедшее, кстати, под знаком Польши. Поляк, вероятно, спасший мир своими молитвами и страданиями, писал об этом времени в энциклике «Centessimus Annus», и этот скромный, строгий абзац я не могу читать спокойно.

Тогда же, для самиздата, я переводила «Мерзейшую мощь», где великана побеждают даже не Джек и не Афины, которые все-таки сражались, а обитатели усадьбы, которые жили в стороне, кормили зверей и молились (и то не все, а кто верил в Бога). Сходство так велико, что я пишу об этом едва ли не в каждой статье про Льюиса или Честертон.

Сами они прекрасно знали такой путь, и оба его описали. Они повторили бы за св. Фаустиной, которая жила

в Польше и Литве, когда там был Гилберт Кийт: «Легко — делай, трудно — говори, невозможно — молись». Противление злу силой не всегда легко и всегда опасно, а потому — благородно. Беда его в том, что оно, скажем так, и немилосердно, и нерентабельно. Доказывать это бессмысленно, люди боятся этой истины и ухитряются не видеть ее в Евангелии, предпочитая толковать впрямую, не считаясь с контекстом, метафору о мече. Притчи о плевелах и слов сыновьям Зеведеевым как будто бы и нет. Заведомо устраниаясь от безнадежного спора, скажу не без скорби, что и Льюис, и Честертон далеко не всегда «предоставляют место Богу», по-видимому, не слишком веря в саморазрушение зла, хотя оно очень похоже по своей механике на то, что описано в «Великане» и «Мерзейшей мощи».

Заметим, что в романе Льюиса насилие есть, и очень жуткое, но совершают его явные орудия Промысла, заведомо безгрешные звери. В сущности, они наносят только последний удар уже обреченному ГНИИЛИ а решается все раньше, быть может — тогда, когда Марк Стэддок отказался топтать распятие. Я помню, однако, что бойня на банкете восхищала в начале 80-х бесстрашного и набожного диссидента. Было это в Литве. Мы сидели на кухне, он просто облизывался от удовольствия, я сказала ему про зверей, и он обиделся, назвав меня Львицей Толстой. Львица или не Львица, а Евангелие не хвалит человеческую беспощадность, даже намного менее жестокую, чем в «Мощи». Вспомним, кроме всего прочего, слова о мече, обращенные в Гефсимании к Петру.

Как бы то ни было, Честертон меч любил и Польша воплощала для него мужское, воинское начало. Поневоле вспомнишь кадры из «Дневника пани Ганки», где гарцуют щеголеватые кавалеристы. Жизнь разыграла очередную притчу, кавалерия не понадобилась, тем более — Польше.

Аберрация эта выразилась даже в мелочи: человек, приветствовавший Честертона, назвал его поэтом, себя — воином. Вероятно, офицером он был, но славился как краснобай и бездельник.

Само пребывание в Польше, начавшееся с этой речи, проходило идиллически. Гилберта и Франсис принимали как почетнейших гостей. Таким и был Честертон для католической страны, а у себя, в Англии, терял всенародную славу, хотя год поездки, 1927-й, был для него исключительно плодотворен. Посетив Польшу, он посетил и Литву, то есть Вильнюс, тогда в нее не входивший. Вероятно, Литва занимала его давно; почему-то он пишет в одном эссе: «...тринадцать литовских философов» («Упорствующий в правоверии»), а в другом какая-то дама жалеет, что у нее не было литовской гувернантки («Все наоборот»). В обоих случаях можно подставить любое другое слово. Однако образ маленькой, бедной, уютной, райски красивой страны, где много хуторян, был для него очень важным. Дания Андерсена или Норвегия Сельмы Лагерлеф не годились, они — протестантские.

Я жила в Литве пятнадцать лет, она спасла меня, у нашей семьи есть там домик с огородом и яблонями, но и без всего этого я могу понять умиление Честертона. Что говорить, Логрис Литвы и Логрис Польши на удивление хороши, как, наверное, у всех стран, но относительно

северные мне ближе. В Польше я не была; ее странную, знаковую роль в истории ушедшего века отрицать невозможно. Да и Литва была сердцем мира в январе 1991-го. Во всяком случае, так написал мне один литовский американец.

Речь не об этом, а о том, есть ли у Честертона слепое пятно вроде тех, о которых он часто пишет в своих рассказах. Мне, может быть — зря, кажется, что есть. Я никому не навязываю такого мнения, тем более — не хочу кого-нибудь им обидеть. И все-таки скажу: в межвоенное двадцатилетие в Польше и Литве царил не дух высокой свободы, а дух какого-то провинциального мещанства.

Прежде чем спорить об этом понятии, напомним, что любой дух показался бы райским по сравнению с тоталитарными режимами, нашим или немецким.

Г.П.Федотов писал в «Пути» за 1926 г., что уклад и строй, который эмигранты застали на Западе, покажутся раем после советской России (это — в 1926-м, а дальше было еще хуже!). Человеку, вырвавшемуся в Литву и Польшу, скажем — Добужинскому, жилось несравнимо лучше, чем оставшимся здесь. Судьба Карсавина позволяет это сравнить, Советы его настигли. Однако сейчас речь о другом.

Слово «мещанство» толкуют по меньшей мере двояко. Чаще так называют особый, легко узнаваемый дух слепой уверенности и нетерпимости к «иным», который по мирскому закону маятника выталкивает многих в «гибельную свободу». Те, кто понял ее гибельность, нередко по тому же закону отрицают любую свободу и начинают играть словом, обозначающим, как и «бюргер», просто

горожанина. Иногда они вспоминают, что мещанином назвал себя Пушкин, хотя он имел в виду вещи очень хорошие — дом, покой, независимость от черни. Вероятно, именно это вложил бы в русское слово Честертон, как вкладывал в сочетания *common man* и *common people*.

Принимать мещан в первом смысле за соль земли можно только в том случае, если мы не видим их жестокости, пошлости, фарисейского самодовольства. Пушкин, конечно, все это видел. Что до Честертона, он, слава Богу, упомянутых свойств не ценил (к сожалению, это бывает), но и не видел, если речь шла о *common people*. Он искренне верил, что «шарманочный люд», тем более — католики, любят так же сильно, как он, дом, уют и свободу. «Важным», имеющим власть он этих свойств не приписывал, но, когда речь зашла о Литве и Польше, граница растворилась, словно все там настолько хорошо, насколько это возможно в падшем мире. Если бы он имел в виду только Царство Божие, Логрис, было бы незачем и спорить. Но так ли это?

Там, в Логрисе и в Царстве, жизнью правит чудо, и об одном из них, очень простом, я напоследок расскажу. Именно в Литве осуществлялся честертоновский самиздат. «Фому Аквината» я переводила в Эжереляй на Неменчинском шоссе; «Франциска» — напротив храма Святого Сердца, глядя в окно на Лукишскую площадь, которая тогда называлась иначе; «Вечного человека» и много эссе — на Антоколе, другие эссе — на Леиклос. После десятилетнего перерыва, вернувшись и поселившись на улице Пшевальскё (теперь — Вивульскё), я перевела «Четверг», «Кабак» и «Дон Кихота».

В начале 60-х я как-то забрела на площадь, которая имени не имеет и считается частью улицы Арклю. Мне пришло в голову, что ее хорошо бы назвать Честертоно Айкште и поставить на газоне маленький памятник. Теперь это вполне возможно.

Человек для нашей поры (заключение)

Когда-то я делала доклад «Честертон, писатель XXI века», и зря. Мы не знаем, каким будет век, а вот сейчас, в начале, живем так, словно Честертон имел в виду нас, а не своих современников. Два лучших его романа, «Четверг» и «Кабак», рассказывают о террористах и о мусульманском фанатике. Такое эссе, как «Сыр», — ровно о том же, чем обеспокоены антиглобалисты, которые в отличие от Честертона портят дело нетерпимостью, злобой, а то и прямым насилием.

Потому я и решила написать о небольшом перекосе, быть может — мнимом, быть может — нет. Сейчас, у других, он вполне реален и очень велик. Речь не о том, что кто-то видит в католических странах только лучшее, а в протестантских — худшее, этого как раз мало, а в том, что только лучшее видят в своих странах или укладах жизни. Кажется, при Честертоне это было менее весомым, тогда как теперь только об этом и слышишь. Слава Богу, что на самого Честертоне почти не ссылаются, я помню только один случай. Может быть, дело в том, что противопоставляют теперь не католичество и протестантство, а другие веры и уклады.

Кроме тяги к правде, нередко снимавшей перекося, Честертон спасало ощущение драгоценности и беззащитности всего, что создано Богом. Рассуждения в духе Беллока, де Местра, Деруледа снова и снова уступали милосердию. В одном из стихотворений он писал, что важный, солидный человек «не потеряет головы, но душу потеряет». С ним этого не случилось. При всем своем уме жил он душой, сердцем; только поэтому его можно назвать мудрым. Голову он терял и разумом ошибался, а мудрость и милость сохранял если не в каждой фразе, то в общем духе своих сочинений.

По-видимому, прежде всего нам стоит учиться у него не частностям, а сочетанию истины и милости, очень редкому в наши дни. В прошедшем веке его принимали и за добродушного эксцентрика, и за сурового воителя. Пора понять, что нам, да и всем, он чрезвычайно нужен только в том случае, если мы увидим у него нераздельное сочетание вверенности Богу и сострадания к людям. Иначе его не очень трудно превратить в идеолога, а лишний идеолог, честное слово, не нужен никому.

P.S.

Только что я узнала в Литве, что Честертон был в Вильнюсе 26 мая. Сообщил мне это упомянутый диссидент, теперь известный философ. Вот еще один честертоновский сюжет.

Что надо бы прочитать к каждой главе:

Введение:

глава из «Ортодоксии» «Парадоксы христианства»;
эссе «Француз и англичанин»

Глава 1:

«Кусочек мела»;
«Сияние серого цвета»;
«Съедобная земля»;
«Огород и море»;
сцену в огороде из гл. 1 «Охотничьих рассказов»;
стихи «Моя госпожа надела зеленый наряд» (есть в
книге «Неожиданный Честертон», М., 2002).

Глава 2:

замечания о протестантстве разбросаны по раз-
ным книгам (см., например, «Очерк здравогомыс-
лия»). Чаще всего это фразы или абзацы.

Глава 3:

«О Польше»;
последнюю часть главы «Несовершенный путешес-
твенник» в книге «Человек с золотым ключом».

Глава 4:

«Человек, который был Четвергом»;
«Перелетный кабак»;
эссе «Сыр».

8. Защитник веры

Если бы мир был устроен так, как считают материалисты, то вряд ли к нам, в Россию, попали бы и распространились в самиздате именно те два английских писателя, которых считают лучшими апологетами XX века — Честертон и Льюис. Конечно, речь идет о странах, где говорят и читают по-английски, и все же Честертон сыграл большую роль и для других людей. Не английские, но аргентинские католики предложили в 90-х годах причислить его к лику блаженных, и в Ватикане речь об этом идет. Не англичане, но мы находили у него ответы на вопросы, мучившие нас среди всеобщего безверья.

Честертон, которого папа Пий XII назвал «защитником веры», как когда-то одного из королей, писал не только религиозные трактаты. Многие знали его и у нас по переводам 20-х годов, искренне думая, что он — занятый эксцентрик, а его патер Браун интересен тем, что сыщик — священник. На самом деле у Честертона все — проповедь; но его российские поклонники об этом не догадывались.

Примерно к середине 50-х годов, открыв трактаты и эссе Честертонa, несколько молодых людей, близких к обращению, очень полюбили его. Едва ли не первым из них был замечательный англист Владимир Сергеевич Муравьев, а вскорости — и его младший брат, реставратор и иконописец Леонид Сергеевич. Сама я верила в Бога с детства, так воспитала меня бабушка по материнской линии; читала я Честертонa и раньше, с университетской поры (конкретней — с 1946 г.), но трактаты и

эссе открыла только в 50-е годы. С конца 1960 г. я стала переводить их и дарить. Первыми были «Кусочек мела», «Радостный ангел», «Корни мира» и «Розовый куст». К Пасхе 1963 года я кончила книгу о св. Франциске, к Пасхе 1964 — «Вечного человека». Когда я подарила их отцу Всеволоду Шпиллеру, который в то время был моим духовным отцом, он несколько растерялся (очень уж непривычен автор), но сказал, что нам, в частности — мне, очень полезен Аристотель (произносил он «Аристот-Эль»), слишком уж много в нас Платона.

Тогда у меня установилась норма — 25 эссе или один трактат в год. «Ортодоксию», однако, я переводила главами и целиком не сделала. После перелома 1988 года, когда Вячеслав Иванович Кураев, отец нынешнего отца Андрея, попросил составить сборник честертоновских работ для издательства «Республика», недостающие главы перевела Любовь Сумм.

Сказав все это, я рада перейти от рассказов «о себе» к общей истории. Судьба самиздата всегда неясна, но мне кажется, что Честертон приняли намного хуже, чем К. С. Льюиса. Этого второго апологета мы стали переводить с 1972 года, как только узнали, и сделали за 16 лет очень много. Судя по рассказам, повлиял он на самых разных людей, но влияние это не всегда было благотворным. Должно быть, воздействует он прежде всего не на «сердца и утробы», а на разум. Во всяком случае, сейчас (как и всегда) можно встретить множество церковных людей, спокойно служащих двум господам, и почти наверное окажется, что Льюиса они предпочитают Честертону. Как-то в беседе по Би Би Си отец Сергей

Гаккель назвал Честертона юродивым, и я с ним согласилась. Мудрость его так хорошо сочетается с искренней детскостью, что поневоле вспомнишь слова апостола «не будьте дети умом». Однако и платит он за свое юродство полной мерой — мало-мальски важные люди смотрят на него с удивлением.

Что ж, это хорошо. Честертону обеспечена та безвестность, без которой нет христианской жизни. Его и не забывают, и не возводят на пьедестал. Как в «Парадоксах христианства», он сумел сочетать то, что несочетаемо для мира — кротость и твердость, легкость и весомость, славу и бесславие. Англичане, издающие его, считают, что сейчас он востребован больше, чем раньше. Очень может быть; у нас, например, его все время издают. Однако кумиром, слава Богу, он никогда не станет. Кумиром — не будет; кем же он может быть? Несомненно, апологетом — может быть, самым ярким за весь XX век. Почти все люди, занимавшиеся им, да и не только они, рассказывали о том, что именно он привел их к Богу. С теми, кто верил и раньше, он сделал что то такое, что невозможно описать. Так было с Дороты Сэйерс, его верной последовательницей; так было со многими и здесь — в частности, со мной. Но роль Честертона не заканчивается, как бывает со многими апологетами, на церковном пороге. Для тех, кто его переступил — и даже давно — он тоже очень важен. Один из немногих, он неуклонно сохраняет самый дух и атмосферу Царствия, которые не подменить никакими рассуждениями, даже самыми мудрыми. Это и неудивительно: кто-кто, а уж он-то был ребенком, и не в выдуманном, а в чисто евангельском смысле.

9. Учитель надежды

Только что я вернулась из Литвы, с честертоновской конференции. Честертоновский институт любит устраивать их в странах, которые еще в начале 90-х назвал воскресшими. Была среди них Хорватия, была Словения, теперь Литва, ведем разговор о России. Первый доклад сделал сейчас глава «честертоновцев», отец Иэн Бойд. Назвал он его «Учитель надежды» и сообщил, что это — слова Аверинцева.

Всего англичан и американцев было четверо, один другого блистательней. Вот — директор европейской части института, молодой Стрэтфорд Колдекот, без чьей помощи я бы ничего не сделала за последние годы. Вот Дермот Квин, до сих пор известный мне по статьям. Вот Уильям Одди, слишком честертоновский даже для Честертона. Именно он перебаламутил Англию, когда разрешили рукоположение женщин, не пожалев и собственного многолетнего священства; католическим патером он стать не может, у него есть семья, причем дочь Виктория как-то летом жила на плоту и спасала всякую живность. Когда на последнем заседании мы сидели с ним рядом, а народ обсуждал, что такое «Christian community», мы сошлись на достаточно простом решении: кроме свободы, милости и других хороших вещей, так должны быть — angels and animals.

В такой честертоновской атмосфере, среди холмов и храмов Литвы, кто-то предположил между делом, что именно Гилберт Кийт — лучший писатель ушедшего века; мало того — тех лет, которые называют «коротким

XX» (1914—1989). Мы удивились. Еще недавно никто не вспоминал его среди хоть в какой-то мере «главных». В бесчисленных интервью повторялся привычный набор, к которому подходят слова Тэффи «прошлогодний стиль нуво»: Пруст, Джойс, Кафка, Борхес, и так до Томаса Манна. Прибавить к этим взрослым, несчастливым людям блаженного, а то и святого не решился никто. До «короткого века» еще туда-сюда — викторианец, эдвардианец, а к этим жутким десятилетиям — нет, не подходит.

Утопии порядка и утопии свободы, терзавшие короткий век, почти незаметно исчезли; во всяком случае, могло быть намного хуже. История, однако, не кончилась, она стала другой — именно такой, какую описывал устаревший англичанин.

Году в 1930 один журналист спросил Честертона, откуда он знает, что мегаполисы станут невыносимыми. Честертон без особой охоты признался, что он, видите ли, мистик. Насколько мне известно, больше он о себе так серьезно не говорил. Колдекот, Одди, Бойд — говорят, они же не себя хвалят, и все громче звучат речи об его беатификации. Недавно в *Chesterton Review* под его портретом написали «Saint Gilbert», причем лицо у него не детское, даже не дурацкое, а мудрое, как у пророка.

Расскажем в сотый раз, откуда взялся человек, знавший за сто лет об ужасах терроризма и обесчеловеченного ислама.

Отец Честертона Эдвард был крупным потомственным дельцом, а кроме того, в семье — веселым, умелым, даровитым и очень просвещенным. Его род уходил

корнями в рано развившийся класс богатых горожан. Мать, Мэри Луиза, происходила по отцовской линии из швейцарских протестантов, считавших себя французами. Самой интересной была бабушка, то есть мать Мэри Луизы. Она происходила из шотландского рода Кийтов, к которым принадлежали и зять Роберта Брюса, и основатель российского масонства, выполнявший в нашей загадочной стране функции малороссийского гетмана (первый — сэр Александр, второй — Джеймс, обычно называемый у нас «Кейтом»).

Родился Гилберт К. Честертон 29 мая 1874 года и вскоре вместе с семьей переехал в прелестнейший дом у Кенсингтонского сада. Если хотите его посмотреть, возьмите книгу «Неожиданный Честертон», заодно порадовавшись тому, что фотографии честертонских жилищ сделали специально для нас.

Учился он в одной из самых старых школ, основанной в начале XVI века другом Томаса Мора. Она славится гуманитарностью; но юный Гилберт, буквально живший словом, учился довольно плохо. Ему мешали и лень, и отрешенность и стеснительность. Однако изгоем он не стал, его любили за редкостную кротость, а может — и за ум, благодаря которому он создал и возглавил в старших классах блистательный кружок. Об этом лучше прочитать в его автобиографии («Человек с золотым ключом» М., Вагриус, 2004).

Как ни странно, в университет он не поехал, что просто неслыханно после Сэнт-Полз. Не очень прилежно занимаясь живописью, он чрезвычайно тяжело переживал острое чувство греха и острое чувство мирского зла. Считается, что спасла его любовь к похожей на эль-

фа, но весьма здравомыслящей Франсис, на которой он позже и женился.

Женитьба его, как в сказке, совпала с внезапной славой. Так и кажется, что в самом начале обычного, не укороченного века, он занял место несчастного Уайльда (ум. в конце 1900), освободив его дар от какой бы то ни было нечистоты. При Эдуарде VII (1901—1910) он был всеобщим любимцем, но таких искренних людей всерьез не воспринимают.

Отвлечемся немного и расскажем интересную историю, вероятно, связанную хотя бы внутренне с темой этой статьи. Когда в 1988 г. скончалась приемная дочь Честертон Дороти Коллинс, ученые стали разбирать завалы книжечек и карточек. Они много нашли (см., например, все того же «Неожиданного Честертона», изданного у нас в 2002 году). Сложился из запасов и ранний роман «Бэзил Хау». Честертон описывает в нем молодого человека, который становится знаменитым журналистом и находит жену, с которой, кроме поэтичнейшей влюбленности, связан и редкостным пониманием. Ученые спорят о том, когда это написано. Скорее всего — до знакомства с Франсис (осень 1896), хотя одну из трех сестер, как и в ее семье, зовут Гертрудой, а в первом наброске пролога есть Бланш (имя их матери). Но воспарение юности дарит и не такие догадки. А вот о пути журналиста и об особой дружбе с женой он вряд ли мог знать почти на десять лет раньше. Это уже не догадка, а сказочное провидение.

Вернемся к основной нашей теме. Честертон-утешителя, если не просто весельчака, знают хорошо, но числят по разряду второстепенной, едва ли не массовой литера-

туры. У нас им развлекались в 20-х, потом — осудили, и в 1958 издали тоненькую книжечку детективных рассказов. Романы издать не удавалось, трактаты — тем более. Но, слава Богу, в конце 1960 года Честертон буквально наводнил едва зарождавшийся самиздат. За тридцать лет без малого появились и множество эссе, и все романы, и непроходные рассказы, и жизнеописания святых. Один из английских исследователей пишет в *Chesterton Review*, что Гилберт Кийт возвращал нашей бедной стране *liberty* и *freedom*. Подсчеты здесь невозможны, но среди новообращенных — да, возвращал.

Теперь его печатают, и немало. Еще недавно, подходя к границе тысячелетия, мы огорчались, что он застрял в незрелой литературе (хотя так ли это плохо?). Но сейчас, чуть позже, оказалось, что темы его романов злободневны, как хроника. В сказке не предскажешь такого полного совпадения.

Конечно, он — не гадалщик, а мудрец, провидец. Дурной, темной мистики он избегал как только мог; и Борхес удивлялся, что человек, знающий «такое», почему-то радуется. Кафке запуганность и жалкость помогли поверить, что Честертон знает нужную тайну. Догадался и Чапек, который жил в красивой, уютной стране и не был при этом евреем. Именно он нарисовал Честертону в виде головы с крылышками. Вероятно, ангелы остались довольны, забрав его к себе до начала бедствий (как, кстати, и Йейтса, и Ходасевича).

Однако уютному Чапеку не удалось изобразить преображенный, райский мир (а предсказал, он, увы, саламандру и робота). Пушкину — удавалось, что бы он ни

писал, но он еще и гений. Честертон гением не был. Как же сильны надежда, простота и благодарность, если милый английский джентльмен походя стал самым настоящим пророком, мегафоном Бога!

Романы его, казалось бы — о чистом ужасе, неправдоподобно радостны. Сейчас это нетрудно заметить, мы в них живем. Террористы в «Четверге» — не лучше наших, даже похуже, поскольку они не просто злодеи, а еще и гордецы. Сайм жалеет и почитает шарманочный люд не меньше, чем мы в сентябре 2001 и 2004. Сюжет движется дико, логических неувязок не счесть, но нам не до них — ведь обычные люди оказались не чернью, а спасением мира. Мало того, среди них — святой доктор Суббота, спокойно признавший себя вульгарным. Что ж удивляться, если только он не поверил во всевластие зла и пожалел почти сумасшедшего Понедельника!

А «Перелетный кабак»? Террористы хоть были, но Блистательная Порта в то время выдыхалась на глазах. Другие мусульманские страны скорее поставляли экзотику. Тут я рассуждать не буду — есть и суфии, есть и тихие, мудрые мусульмане, создавшие невиданную красоту. Что же до жестокости, мы видели ее и в другом исполнении. Однако Честертон знал, что и *такое* исполнение будет, а мы — не знали.

И еще одно: совсем молодым, в полузабытой статье, он, восхваляя веру, в том числе — ислам, сетует только на то, что мусульманство очень мало ценит жизнь, что свою, что чужую. «Перелетный кабак», написанный с рыцарством хорошего крестоносца, тоже подсказывает эту мысль. Вспомним, к примеру, как вытесняет роскошь

простую радость, а ницшеанские выдумки о браке «особенных людей» — обычную любовь, от которой гордая Джоан плачет, героический Патрик — паясничает, словно смущенный мальчишка.

Наконец, той же осенью, что конференция, начался переворот, похожий на карнавал и связанный вдобавок с очень честертоновским, оранжевым цветом. Молодая женщина, приехавшая позже в Москву, сказала нам, что чувствовала себя в толпе Патрика Дэлроя. Заметьте, что она, как и Патрик, никак не будет связана с «политикой», которая детской не бывает — никогда и нигде.

Однако не пересказывать же лучшие романы Честертона. Мы смеялись над ними — ну, что за балаган! — и мы до них дожили. Может быть, вспомним, что предвидел все эти дикости не изысканный меланхолик, а смиренный и благодарный человек. Именно такие люди знают, что зло — непрочно.

Где были опубликованы статьи, вошедшие в эту книгу:

I. Невидимая кошка

1. Невидимая кошка — «Независимая газета» («Кулиса НГ» № 12) 25 июня 1999.
2. Закон Квудла — журнал «Дружба народов». № 1. 1994.
3. Второе письмо Успенскому — «Неприкосновенный запас». № 3(5). 1999.
4. Улица Леиклос — «Истина и жизнь». 2004.
5. Остров пингвинов — не публиковалось.
6. Чаша холодной воды — не публиковалось.

II. Голос черепахи

1. Первое письмо Успенскому — «Неприкосновенный запас». № 1(3). 1999.
2. Третье письмо Успенскому — «Неприкосновенный запас», № 2(10). 2000.
3. Профессия — переписчик — «Страницы Библейско-богословского общества». № 3(4). 1998.
4. Королевский злодей — «Страницы Библейско-богословского общества». № 3(4). 1998.
5. Король Саул из Тарса — «Русская мысль». 8 апреля 1998.
6. Новые недоумения — «Независимая газета» («Ex-Libris НГ») 21 октября 1999.

III. Крепче меди

1. Крепче меди — послесловие к повести «Леди Джейн» (Одесса: Изд-во «Два слона», 1992).
2. Наполовину полон — послесловие к повести «Полианна» (Одесса: Изд-во «Два слона», 1993).

-
-
3. Человек благородный — послесловие к повести «Маленькая принцесса» (Одесса: Изд-во «Два слона», 1992).
 4. Вольное упорство — послесловие к повести «Роликовые коньки» (Одесса: Изд-во «Два слона», 1993).
 5. Предисловие к «Томасине» — к повести П.Гэллико «Томасина» (М., 1999).
 6. Современные сказки — «Дружба народов». № 4. 2005.

IV. В конце тысячелетия

1. Оскар Уайльд в конце тысячелетия — «Независимая газета» («НГ-религия»). 29 ноября 2000.
2. Показания очевидца — не публиковалось.
3. О Малькольме Маггридже — «Страницы Библейско-богословского общества». № 7(4). 2002.
4. Благодарность блудного сына — предисловие к книге Т.Мертон «Семена созерцания» (М., 2004).
5. О Питере Крифте — предисловие к книге П. Крифта «Трактаты. Небеса, по которым мы так тоскуем. Три толкования жизни» (М.: ББИ, 2004).
6. О книге «Экуменический джихад» — «Страницы Библейско-богословского общества», № 3(1). 1998.

V. Лучший университет

1. Лучший университет — предисловие к трехтомнику П.Г.Вудхауза (М.: Изд-во «Художественная литература», 1999).
2. Сага о свинье — предисловие к трехтомнику П.Г.Вудхауза (М.: Изд-во «Остожье», 1995).
3. Послесловие к романам о непокорных лордах — послесловие к тому П.Г.Вудхауза «Money in the Bank» (М.: Изд-во «ЭКМО», 2004).
4. Дживс и Вустер — предисловие к тому П.Г.Вудхауза (М.: Изд-во «Остожье», 1998).
5. Кто такой Пэлем Гренвил Вудхауз — «Парадокс». 2001.

-
6. Сэр Пэлем, отец Дживса и Вустера — «Огонек». 1995.
 7. Еще о Вудхаузе — «Русская мысль». 17 февраля 2000.
 8. Послесловие к роману «Билл-завоеватель» (М.: Изд-во «Остожье», 1999; М.: Изд-во «Олма-пресс», 2002).
 9. Иэн Спраут и «дело Вудхауза» — послесловие к тому П.Г.Вудхауза «Дживс и феодальная верность» (М.: Изд-во «Остожье», 2003; М.: Изд-во «ЭКСМО», 2003).

VI. Учитель надежды

1. Проповеди и притчи Гилберта Кийта Честертона — предисловие к трехтомнику Г.К.Честертона (М.: Изд-во «Художественная литература», 1990).
2. Предисловие к полному собранию рассказов (М.: Изд-во «Остожье», 2002).
3. Человек, который был Четвергом — послесловие к роману (СПб.: Изд-во «Амфора», 2000).
4. Новый Иерусалим — не публиковалось.
5. Стоит ли читать Честертона — предисловие к тому Г.К.Честертона (М.: Изд-во «Остожье», 2005).
6. Честертон о себе — предисловие к автобиографии Г.К.Честертона «Человек с золотым ключом» (М.: Изд-во «Вагриус», 2003).
7. Капли из ведра — «Дружба народов». № 8. 2004.
8. Защитник веры — предисловие к «Ортодоксии» Г.К.Честертона (М.: Изд-во Свято-Тихоновского Богословского института, 2003).
9. Учитель надежды — не публиковалось.

Содержание

Вместо предисловия	3
Невидимая кошка	
1. Невидимая кошка	7
2. Закон Квудла	11
3. Второе письмо Успенскому	16
4. Улица Леиклос	20
5. Остров пингвинов	24
6. Чаша холодной воды	26
Голос черепахи	
1. Первое письмо Успенскому	31
2. Третье письмо Успенскому	35
3. Профессия — переписчик	42
4. Королевский злодей	45
5. Король Саул из Тарса	47
6. Новые недоумения	49
Крепче меди	
1. Крепче меди	55
2. Наполовину полон	58
3. Человек Благородный	62
4. Вольное упорство	70
5. Предисловие к «Томасине»	75
6. Современные сказки	79

В конце тысячелетия

1. Оскар Уайльд в конце тысячелетия 93
2. Показания очевидца..... 101
3. О Малькольме Маггридже (1903—1990)..... 106
4. Благодарность блудного сына..... 115
5. О Питере Крифте 117
6. О книге «Экуменический джихад»..... 124

Лучший университет

1. Лучший университет..... 137
2. Сага о свинье..... 148
3. Послесловие к романам о непокорных лордах..... 158
4. Дживс и Вустер..... 162
5. Кто такой Пэлем Грэнвил Вудхауз?..... 166
6. Сэр Пэлем 180
7. Еще о Вудхаузе..... 182
8. Послесловие к роману «Билл Завоеватель»..... 183
9. Иэн Спраут и дело Вудхауза..... 189

Учитель надежды

1. Проповеди и притчи Гилберта Кийта Честертона..... 205
2. Предисловие к полному собранию рассказов..... 234
3. Человек который был Четвергом..... 237
4. Новый Иерусалим..... 242
5. Стоит ли читать Честертона..... 247
6. Честертон о себе..... 253
7. Капли из ведра..... 259
8. Защитник веры 289
9. Учитель надежды 292

Литературное издание

Наталья Трауберг
Невидимая кошка

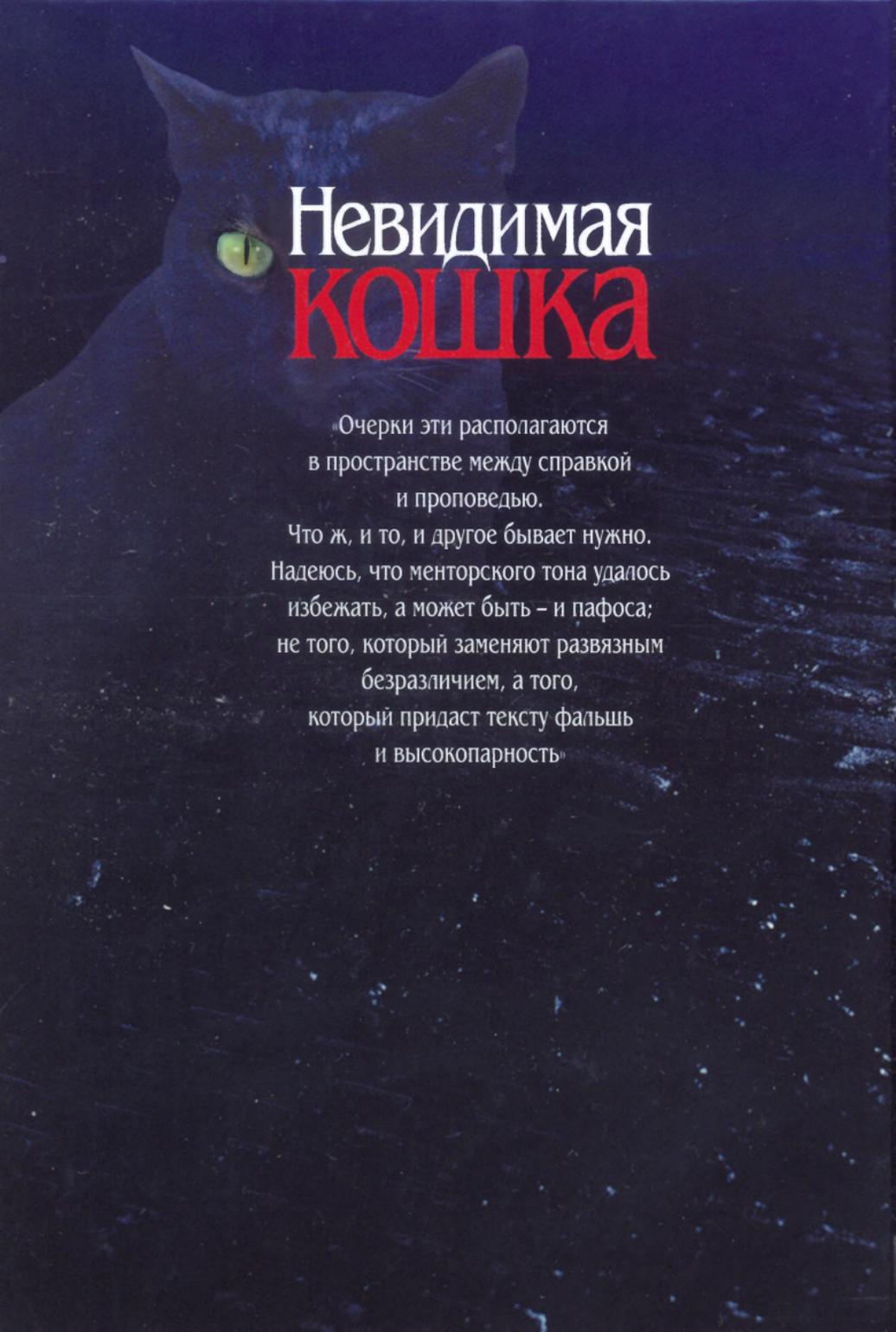
Художник: П.П. Ефремов
Компьютерная верстка: Ю.В. Балабанов

ISBN 5-98856-003-2



Подписано в печать 24.04.2005 Формат 70x100/32
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура MinionPro.
Усл. печ. л. 9.75 Печ. л. 9.5
Тираж 2000 экз. Заказ № 2601.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3



Невидимая КОШКА

«Очерки эти располагаются
в пространстве между справкой
и проповедью.

Что ж, и то, и другое бывает нужно.
Надеюсь, что менторского тона удалось
избежать, а может быть – и пафоса;
не того, который заменяют развязным
безразличием, а того,
который придаст тексту фальшь
и высокопарность»